

Э. Григ-Армян



ЭХО В ЛАБИРИНТЕ ЗЕРКАЛ

Э. Григ-Арьян

ЭХО В ЛАБИРИНТЕ ЗЕРКАЛ

«Автор»

2026

Григ-Арьян Э.

**ЭХО В ЛАБИРИНТЕ ЗЕРКАЛ / Э. Григ-Арьян — «Автор»,
2026**

За фасадом безупречной жизни в роскошном «Стеклянном Доме» скрывается душераздирающая пустота. Роман «Эхо в Лабиринте Зеркал» погружает читателя в мир Андрея, некогда талантливой писателя, и Николь, гениальной художницы, чьи дни наполнены безмолвием и отчуждением. Их творческий дар иссяк, а некогда пылавшие чувства угасли, оставив холодное эхо. Их брак стал полем боя, где два одаренных человека медленно пожирают друг друга, обессиленные взаимным разрушением. Блуждая по лабиринту города, где в случайных встречах мелькают отражения утраченной страсти, герои сталкиваются с призраками прошлого. Это пронзительная история об одиночестве вдвоем, о поиске себя в мире, где все кажется лишь отражением, и о горьком осознании того, что путь к истине начинается с признания собственной пустоты. Смогут ли они, пройдя сквозь лабиринт зеркал и теней, найти не только себя, но и друг друга вновь, возродив любовь там, где, казалось, все сгорело дотла?

© Григ-Арьян Э., 2026

© Автор, 2026

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Э. Григ-Арьян ЭХО В ЛАБИРИНТЕ ЗЕРКАЛ

I

*...ибо чтение сей книги требует постоянного напряжения ума,
вооруженного суровой логикой вкупе с трезвым сомнением,
иначе смертельная отравка пропитает душу,
как вода пропитывает сахар.*

*Не каждому такое доступно, лишь избранным дано
вкусить сей горький плод и не погибнуть.*

*А потому, о слабая душа, остановись и не пытайся проникнуть дальше,
в глубь неизведанных земель; не вперед, а вспять направь свои стопы.*

Ты слышишь, не вперед, а вспять...

Лотреамон: Песни Мальдорора

Воздух в пентхаусе, тонкий, хрустальный, сам по себе был немым свидетельством фанатичной чистоты – стерильной, отточенной до безупречности пустоты, граничащей с забвением. Лишь едва уловимый, горьковатый, клинический аромат дорогого, но безликого кофе витал в нем, призрак угасшего ритуала. За панорамными окнами, составлявшими стены и служащими проницаемой, но непреодолимой границей между этим герметичным миром и пространством вне его пределов, разверзлся однообразный, граненый город: колоссальный, равнодушный ландшафт из бесконечных рядов небоскребов. Каждый из них, подобно холодному божеству, отражал своего собрата в зеркальном, бесчувственном величии, создавая иллюзию бесконечного существования, лишённого тепла и человеческого дыхания.

Утренний свет, поначалу мягкое, ласкающее прикосновение, несущее обещание нового дня, проникал сквозь стекло, превращаясь в резкое сияние. Оно омывало каждую поверхность и угол этого минималистичного, роскошного пространства, высвечивая все с безжалостной ясностью, препарируя и обнажая совершенство, ставшее синонимом пугающей, всеобъемлющей пустоты. Именно в этом безжалостном сиянии, на фоне монотонного города и стерильной чистоты, в центре обширной, но холодной комнаты, стоял стол, накрытый на двоих, с идеально выровненными приборами и сияющим фарфором, тем не менее являвший собой немой, пронзительный укор. Его предназначение было очевидно – служить декорацией для одиночества, для представления, исполняемого в отсутствие подлинной связи. За ним сидели Андрей и Николь, два человека, чье присутствие подчеркивало этот парадокс. Разделенные невидимой, но пронизывающей стеной отчуждения, они были погружены каждый в свой мир, не замечая друг друга.

Андрей, сорокалетний мужчина, чьи глаза, глубоко посаженные в изможденном лице, несли в себе печать неизбывной, геологической усталости, сидел за обеденным столом. Высокий, статный мужчина с безупречным телосложением, которое говорило скорее о внутренней гармонии, чем о показной силе. Его густые, темные волосы, аккуратно зачесанные назад, открывали широкий лоб – будто витрину для его острых, выразительных глаз, в которых играл живой ум. Аккуратное, чисто выбритое лицо усиливало ощущение порядка и собранности.

В его безупречных манерах, в каждом жесте и взгляде, безошибочно читалось то самое «благородство» – достоинство потомственного интеллигента, человека, выросшего среди произведений искусства и знающего истинную цену культурного наследия. Он был воплощением изысканной привлекательности и утонченного вкуса.

Полированная поверхность стола отражала его бледное, искаженное изображение. Взгляд Андрея, затуманенный и отстраненный, был прикован к внешнему миру, который он воспринимал сквозь толщу мутной, непроницаемой воды, не различая ни деталей, ни оттенков, лишь смутные, расплывчатые контуры чужой, недостижимой реальности. Он медленно, механически поднес чашку к губам. Глоток кофе, дорогого, но лишнего вкуса, проскользнул вниз, не принеся ни бодрости, ни малейшего намека на удовольствие, лишь очередное доказательство того, что даже самые простые ощущения были теперь недоступны, растворившись в окружающем его вакууме.

На зеркальной поверхности стола, рядом с его рукой лежало открытое, зияющее пространство ноутбука. Его экран светился слепящей белизной пустого документа, и лишь маленький, мерцающий курсор пульсировал в тишине, подобно одинокому, отчаянному нерву, бьющемуся в теле умершего мира. Он был крошечным, но настойчивым напоминанием о нереализованной возможности, о слове, которое так и не было написано.

Где-то на стеклянной полке, подсвеченный скрытыми, холодными лампами, стоял отменно изданный том – его собственное, выстраданное творение, которое, он знал это с безжалостной ясностью, никто так и не прочел. Он возвышался там, немой, сияющий памятник нечитаемым словам, никому не нужной мысли, мрачное свидетельство того, как идеи, однажды живые, могут превратиться в холодные, безжизненные артефакты, погребенные под слоем равнодушия.

В чертогах его памяти, раскаленным клеймом отпечатался миг бытия, пульсировавший в унисон с каждой сакральной строкой «Потерянного Эха». Ныне это время мерцало лишь призрачной болью – обрывком сновидения, созданного из пепла давно угасших солнц, оставившего после себя горький привкус тления и безмерной утраты.

Стопка истерзанного пергамента, скрепленного тяжелым переплетом, – безмолвная исповедь, высеченная из темнейших, неистовых глубин души, лабиринт экзистенциальной тоски и мимолетных проблесков надежды, бившихся о стены ночи. Отблески, сотканые из метафор, тонких и сложных, как паутина, усыпанная утренней росой, мерцали под первым, робким лучом восходящего светила, затем растворяясь в безжалостной яви.

Каждая лексема – вырванный из плоти нерв – пульсировала выстраданной мукой, оставляя на страницах невидимые рубцы. Каждый персонаж, живой фрактал собственной сущности, расколотой на миллиарды осколков, отражал бездну одиночества, подсвеченную призрачным, невыносимым светом величия и немой агонии.

Безжалостно, до последней искры, он изверг в ее чрево все естество, каждую струну своей души, каждый вздох и каждое проклятие, движимый отчаянной, безумной верой в право Истины на обнажение. Мир, содрогающийся от ее неумолимого, леденящего лика, как застигнутый врасплох путник, узревший древнее, грозное божество, должен был принять ее острые и неуютные грани.

Не для каждого ума, не для каждого сердца предназначались эти письма, истерзанные пронзительной искренностью и обжигающей правдой, вырывавшейся из каждой буквы, как раскаленная лава. Лишь избранным, обладающим сердцем, не страшась погружения в бездны, шепчущие неразборчивыми древними тенями и мерцающие осколками давно забытых смыслов, открывалась эта книга – храм сокровенных знаний для осмелившихся заглянуть за грань привычной реальности, ощутивших холодное дыхание вечности и привкус бескрайней, всепоглощающей пустоты.

Однако мироздание, в своей неспешной, равнодушной поступи, предпочитало нежным переливам сложных симфоний однотонный ритм незатейливых мотивов, гулко резонирующих в широких проспектах банальности. «Потерянное Эхо», созданное из самой сути души, прошептало в безмолвие, одинокой звездой, теряющей свет в бескрайней чернильной дали, и лишь редкие, чуткие натуры, блуждающие по периферии всеобщего шума, смогли уловить его призрачный зов.

Цифры продаж, холодные, бесстрастные символы рыночной жестокости, обрушились на него тысячами острых осколков, вдребезги разбивая хрустальный замок художественного идеализма, некогда возвышавшегося над суетой, питаемого чистым пламенем творческого порыва. Память хранила образ стерильного, безжизненного кабинета, словно застывшую фотографию. Воздух, пропитанный запахом отстраненной логики и полированной древесины, наполнял пространство. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь безупречно чистые окна, подчеркивали холодную, отстраненную красоту безликого интерьера.

Из этого святилища коммерческого расчета, окутанного вежливой, но непреклонной аурой, доносились голоса – негромкие, обволакивающие, шепот древних жрецов, приносящих жертву богу прибыли, – безжалостно рассекающие ткань сокровенных убеждений Андрея. «Андрей, – эхом отражались их реплики, лишённые всякой теплоты, – Ваше творение... слишком глубоко, чрезмерно многослойно для нынешних дней. Драгоценность, предназначенная для избранных, ищущих лабиринты смыслов, контрастирует с нашим стремлением осветить широкие, проторенные дороги, ведущие к массам. Нам нужно нечто... легче. Более доступное. Обещающее быстрый отклик, коммерческий успех».

Эти фразы, отточенные рыночной прагматикой, оседали горьким привкусом пепла, оставляя ощущение невосполнимой потери, предательства, совершенного против самой идеи искусства, против священной клятвы верности Истине, принесенной им, наивным мечтателем, у алтаря собственного призвания.

Он сопротивлялся, о, как яростно билось его израненное сердце против неумолимого прилива реальности, отчаянно мерцаая одиноким маяком в надвигающейся буре. Штормовые волны, внутри него самого зародившиеся, грозили поглотить последний островок его нетронутой сущности. Неделями голоса, призрачные отголоски непримиримой борьбы между неизбежностью духа и безжалостной необходимостью существования, множились в стенах промозглой квартиры. Каждый угол впитал эхо титанического столкновения между подлинным золотом целостности и ржавым железом выживания, создавая тягучую, осязаемую атмосферу предрешенности.

Гнетущее чувство голода – плотского, истончающего тело до прозрачности, и куда более мучительной жажды, чтобы его слова, в искаженном отблеске, обрели вес и смысл в этом равнодушном мире, отличном от мечтаемого, – подтачивало его волю. Невидимый червь, прогрызающий сердцевину старого дерева, в конце концов сломил его, превратив сопротивление в безмолвный стон. С глубоким, едва слышным вздохом, тяжелее любого крика, он капитулировал, уронив меч, выкованный из чистейшего намерения, перед незримым врагом, с лицом, высеченным из тысяч пустых глаз и жадных рук.

Под его рукой, уже не трепещущей от вдохновения, но движимой бездушной инерцией, родилась вторая книга – искусный фантом, приторная конфета из предсказуемых сюжетов и легкоусвояемых эмоций, лишённая терпкой горечи истины, облаченная в блестящую обертку мнимого очарования. Ее природа не была дитем души. Это творение вытекало из-под его пера с тошнотворной легкостью, патока, стекающая по безжизненным желобам. Это был механический процесс, лишённый искры, пустой ритуал, где каждый символ являлся бледной тенью когда-то живого слова. Это была победа холодного, расчетливого ремесла над пылающим, уязвимым искусством, а не духовный триумф. Расчетливый компромисс, запечатанный не кровью,

а чернилами на бумаге, договор с безымянным демоном, вырвавшим из него душу в обмен на мимолетное сияние.

И мир, этот ненасытный Левиафан, проглотил ее жадно, без разбора вкуса, ощущая приятную сладость на языке. Тиражи взлетели. Рецензии захлебывались в елейном восторге, вознося фальшивый идол на пьедестал. Деньги хлынули бурлящей рекой, оmyвая его берега, не способные смыть горечь поражения, осевшую глубоко в его душе. Застывшая смолой, эта горечь навсегда запечатала рану.

Успех, этот обманчивый мираж, не стал для него освобождением, но обернулся позолоченной темницей, чьи ажурные прутья, переливаясь в свете всеобщего восхищения, крепче сжимали его удушающие объятия. Голоса, облеченные в шелк лести и приторность ожиданий, вились вокруг него, подобно ядовитым плющам, их щебетание, звенящее в предвкушении новых, бездушных нулей, отдавалось в глубине души Андрея металлическим скрежетом. В их взорах, отполированных жаждой прибыли, вспыхивали хищные огни, отражающие не блеск его гения, но лишь потенциал будущих тиражей. Вкус же этого триумфа, манящего обманчивым сиянием, оказался не нектаром, а полынной горечью, оставляющей на языке привкус истлевших надежд и предчувствие неминуемой потери.

И тогда, в самом зените этой фальшивой славы, когда мир жаждал новых, столь же удобоваримых историй, он произнес свое «Нет» – не громкий бунт, но тихое, глубинное отречение, прошептанное едва слышно, но сотрясающее основы его собственного мира. Это решение, ставшее эпитафией, высеченной на надгробном камне его прежнего, непокорного «я», явилось последним, отчаянным всполохом тлеющего уголька, бросающим вызов надвигающейся, беспросветной ночи духа. Оно было дерзким проблеском, мерцающим на краю пропасти, перед тем как погрузиться в безмолвную, тягучую тьму.

Иссохли живительные ключи его внутреннего мира, некогда полноводные, питавшие его творческий гений, – источник вдохновения, подобно старинному колодцу, опустошенному засухой, превратился в бездонную, каменистую пропасть. Его уникальный голос, когда-то бурлящий, неудержимый поток, затем истончившийся до тонкого, едва слышного ручейка, теперь замер окончательно, подобно древнему, забытому инструменту, чьи струны навсегда оборваны, а эхо последних аккордов растворилось в небытии.

Дни текли, подобно вязкой смоле, сквозь трещины его опустошенного сознания, каждый рассвет принося новую порцию безнадежности, когда он сидел, недвижимый, замерший в кресле, глядя на чистый лист. Перо, когда-то продолжение его мысли, теперь лежало холодным, чужим, словно заброшенный скипетр в руках свергнутого короля, не способного более призвать к жизни ни единой строки. Разум, терзаемый бесплодными судорогами, упорно искал потерянные нити, блуждая по лабиринтам памяти, но наткнулся на глухие стены пустоты, где каждый поворот возвращал его к исходной, немой точке. Казалось, сам канал, по которому некогда струились потоки образов и смыслов, был перерублен, точно артерия, питающая жизнь, обрекая его на медленное, мучительное увядание. Слова, эти верные вестники его души, отвернулись, покинули его, оставив блуждать, подобно призраку, в бескрайних, бесплодных песках метафорической пустыни, высланной им самим – его собственным выбором, его личной трагедией.

Тишина, живое, осязаемое существо, расправила бархатные крылья над его миром, став безмолвным, всепроникающим хищником, давившим на грудь невидимой пятой, насмехаясь над жалкой, мучительной агонией бессилия. Напрасно пытался он, древний маг, заклинать покинувших его Муз мольбами, обещаниями, хитростью, волей, обмануть их эфемерные тени, заманить обратно в опустевшее святилище разума, некогда горевшее неугасимым огнем вдохновения. Дрожащие от невыносимой тоски пальцы скользили по пожелтевшим страницам «Потерянного Эха», древнего тома, хранящего отголоски былого величия в каждой строке. Отчаянно искал он в лабиринте слов алхимическую формулу, забытый ключ к вратам утра-

ченного царства, или хотя бы тень магии, прежде оживлявшей чернила. Но каждое усилие оборачивалось мучительным осознанием бесполезности: попытки ухватить призрачный дым, ускользающий сквозь пальцы, или поймать луч заходящего солнца, уже растворившегося за горизонтом, оставляя после себя сумеречную пустоту.

Необузданная, неукротимая страсть, некогда пылающая в его груди ярким пламенем, исчезла без следа, угаснувшая звезда. Она оставила холодную золу и тупую, ноющую боль, глубокое, всеобъемлющее чувство утраты. И вот, с навечно застывшим в руке пером и белоснежной пустыней страницы, это прекращение, эта бесповоротная, сокрушительная капитуляция перед безмолвием, не принесла желанного покоя, низвергнув в еще более глубокую бездну кризиса, погребая заживо под обломками ненаписанных историй, под тяжестью истин, рвущихся наружу, но находивших глухую стену, и под навязчивым, леденящим эхом таланта, безвозвратно утерянного, как он теперь с ужасом осознавал, истлевшего до праха. Былое яркое существование ныне превратилось в медленное, мучительное погружение в самоналоженное изгнание, добровольное заключение внутри лабиринта отчаяния – он, прежний великий зодчий слов, стал безмолвным скитальцем в пустыне разума, писатель без священного дара, душа, лишенная вечной песни, обреченная на неумолчную тишину.

Николь, тридцатипятилетняя женщина, перелистывала страницы глянцевого журнала, но ее взгляд, пустой и отстраненный, скользил по ним, не задерживаясь, не впитывая ни ярких красок, ни манящих образов, ни обещаний счастья, словно ее сознание уже отказалось от попыток найти смысл в этом блестящем, фальшивом мире. Движения ее были плавными, беззвучными, синхронными с движениями Андрея, с той же отточенной, механической грацией, с которой механизм, лишенный искры, повторяет свои предначертанные циклы. Они оба были частью одного, безупречно отлаженного, но бездушного аппарата, обреченного на вечное, бессмысленное существование. Между ними, поверх безукоризненного завтрака из свежих, холодных фруктов и хрустящих, ломких тостов, витала незримая, но осязаемая стена. Не из камня или кирпича, но из слов, из слез, из желаний; она с каждым днем становилась все толще, все непроницаемее, навсегда разделив их, заключив каждого в его собственную, сияющую тюрьму.

В свои тридцать пять Николь – живая апофеоза, пульсирующая рана света на извечной ткани бытия. Ее красота безвозвратно поглощала; всякое притяжение оборачивалось исчезновением, втягивая в неисчерпаемую воронку всех, кто осмеливался приблизиться. Высокая, выточенная с божественной тщательностью, мраморная богиня, ожившая под взглядом Пигмалиона, вдохнувшего в камень дыхание вечности, она двигалась грациозно, с неземной, леденящей душу плавностью. Каждый жест – поэма, каждый шаг – вызов гравитации, тонкий шепот, проникающий в суть мироздания.

Ее кожа, созданная из призрачного лунного света и первого, нетронутого снега, – белоснежное, шелковистое полотно, безупречное до боли, лишенное малейшего изъяна. Хрупкая настолько, что касание оборачивалось ожогом холодного, невидимого пламени. Изумрудные глаза, глубокие, древние леса, хранящие в своих чащах эхо первозданных тайн, смотрели опалюще, пронзая насквозь, обещая вызов и бездну, могущую поглотить душу, дерзнувшую заглянуть в мерцающие глубины. Полные, чувственные губы, окрашенные в цвет спелой, греховной вишни, могли стать причиной космической катастрофы, превосходящей всякое безумство, и перевернуть миры одним лишь обещанием. Темные, прямые волосы, коротко и дерзко остриженные, обрамляли точеный овал лица, подчеркивая архитектурную остроту скул и изящную линию шеи, тонкой настолько, что едва выдерживала вес совершенства. Маленькие, упругие груди лишь добавляли ее силуэту утонченной гармонии, завершая образ, становясь последним, тягучим аккордом в симфонии ее совершенных форм.

Ее присутствие было зрелищем; ощущалось как сейсмический сдвиг в основах бытия, как откровение, обесцвечивающее обыденность мира, делаая ее невыносимо фальшивой и недостаточной. При виде Николь мужчина, застигнутый врасплох нечеловеческой красотой, обре-

кался на один из двух титанических, окончательных ответов, ибо середина, компромисс, был невозможен:

Он мог почувствовать ошеломляющее, Прометеевское желание переписать все законы физики и метафизики, пересоздать мир из пепла старых истин, дабы ее образ, единственная, абсолютная реальность, стал самой тканью существования, непоколебимой аксиомой, вечным мерилom всего сущего. А остальное – обширная, несовершенная вселенная, с хаосом и ошибками – бледной тенью, чудовищным просчетом, требующим исправления, стирания, перековки, дабы она стала достойна ее, ее дыхания, ее взгляда, превратившись в ее вечный, сияющий храм.

Или же, наоборот, он мог уйти в монахи, от нестерпимой, слепящей яркости действительности – с ее появлением ставшей слишком всем, невыносимой для хрупкой души – не от мучений плоти, духа или земных скорбей. В новом, преображенном ее светом мироздании спасение виделось ему в абсолютной тишине и пустоте, в строгом, аскетичном уединении, где, лишенный чувственных раздражителей, он переживал ослепительное откровение – вечную вспышку ее сияния, навсегда выжегшую в сознании окончательную, мучительную истину.

Мольберт у стены возвышался, словно немой, угловатый укор. Его холст – девственно чистый, нетронутый, покрытый тончайшей, едва заметной пленкой пыли, дыханием забвения, осевшим на несбывшихся мечтах, на нерожденных образах. Рядом, на маленьком столике, лениво раскинулась палитра, краски на которой превратились в сухие, засохшие корочки, тусклые, безрадостные, словно кровь, иссохшая на камне. Это было напоминание о том, что когда-то здесь кипела жизнь, бурлили страсти, но теперь осталась мертвая материя, свидетельница угасшего огня.

Но было время, когда мансарда старого, пропитанного веками дома, где располагалась ее студия – святилище, неизменно залитое сиянием, где время замедляло неумолимый бег, жила совсем другой жизнью. Его прикосновение, по утрам нежно-рассеянное, словно дыхание мира, а к закату превращавшееся в жидкое золото, глубокое и таинственное, Николь считала своим безмолвным сообщником, незримым соучастником каждой творческой исповеди. В эфире, наполненном терпким ароматом льняного масла и свежестью пигментов, еще не познавших холста, кисти, ставшие продолжением ее души, выводили на белых полотнах целые миры, рожденные из бездн ее видений.

Ее холсты, едва касаемые невидимым ветром вдохновения, пульсировали жизнью, раскрывая взору фантастические сады. В этих садах каждый, даже скромный бутон, был безмолвным, но мощным гимном непоколебимой надежде. По мощеным улицам воображаемых городов, утопающих в мерцании сумерек, текли, переливаясь и искрясь, реки звонкого смеха. А в глубинах глаз нарисованных ею фигур отражалась наивная вера в незыблемое добро, способное пронзить плотную тьму. Мир, преломляясь сквозь призму ее души, являлся ей палитрой неисчерпаемых оттенков, и каждый трепетный мазок, каждая линия, становился глубочайшим, искренним и беззаветным признанием в любви к самой сути бытия, к его хрупкой, мимолетной красоте. Нанося краски, она созерцала сердцем, и пронзительное до боли видение находило отклик в каждой линии, оттенке, тени, оживая под ее чуткими пальцами. Вдохновение, неиссякаемый горный ручей, струилось из глубин ее существа, питаясь синевой бескрайнего неба, меланхоличным шелестом опавшей листвы, шепчущей о неизбежном увядании, мимолетной улыбкой незнакомца, промелькнувшей в толпе, и, прежде всего, бесконечным, всеобъемлющим чувством, весенним садом, цветущим в стенах ее дома, окутывая его незримым, теплым сиянием.

Имя этого всеобъемлющего, укоренившегося в самой ткани ее бытия чувства, было Андрей. Он был ее незыблемым якорем, удерживающим корабль ее души от дрейфа в океане сомнений, и одновременно – ее попутным ветром, раздувающим паруса дерзновенных замыслов; он был ее самым преданным читателем, способным прочесть потаенное, и строгим кри-

тиком, оттачивающим грани ее дара острым словом. Их союз, созданный из незримых нитей взаимного, благоговейного уважения к таланту, из негласного понимания, граничащего с телепатией, и из глубокой, неизбывной привязанности, был древней фреской, тонкой и одновременно нерушимой, выдерживающей натиск времени. Их творческое содружество являло собой редкий, мифический образец гармонии, вызывавший тайное восхищение как воплощенная мечта, недостижимая для большинства. Будь то в полумраке старинных кофеен, наполненных шепотом историй и ароматом свежемолотого зерна, где их мысли, две реки, сливались в единое русло, обмениваясь идеями. Или в тиши их общей квартиры, где мерный стук клавиш его пишущей машинки, созидая словесные миры, гармонично переплетался с неслышным скрежетом ее кисти, танцующей по холсту. В обоих случаях их души пребывали в абсолютном созвучии, вибрируя на единой, невидимой частоте. Андрей, погруженный в лабиринты собственных слов, в священнодействие создания нового текста, прерывал иногда свой сосредоточенный труд, поднимая взгляд, чтобы встретиться с ее сияющими, далекими, звездными глазами; и в мимолетный, но вечный миг, когда их взоры сплетались, они оба, без слов, без единого колебания, постигали глубинную, космическую истину: они были предначертаны друг другу, выкованы одной судьбой. Он был ее нерушимой опорой, скалой, на которой зиждилось ее вдохновение, а она – его вечной музой, эфирной и осязаемой одновременно, направляющей его перо; и вместе, объединенные неразрывной связью, они ощущали себя непобедимыми перед лицом мира, способными преодолеть любую бездну, любой шепот отчаяния.

Из недр полноты, безмятежной, запредельной гармонии, сплетавшей их судьбы воедино, – древним семенем – проросло решение о грядущей жизни. Веление душ, глубоко осознанный аккорд их общей симфонии любви, естественное продолжение совместного созидания, было подобно реке, неизбежно стремящейся к морю, растворяясь в его безграничном объятии.

Долгими вечерами, в сумерках, обволакивавших мир бархатной мантией, при танцующих в полумраке каминных искрах, их голоса разворачивали картины будущего: нежные очертания крошечных ручек, способных прикоснуться к тайне бытия; первые, неуверенные шаги, открывавшие эру перемен; и детский смех, струящийся сквозь пространство их дома серебряной мелодией, ненаписанной, но живущей в предчувствии их сердец.

Для Николь сие предвкушение являлось зовом материнства, обещанием неизведанного источника вдохновения – незримой, но всепроникающей музой, открывавшей врата в иные миры ее внутреннего космоса, преображая привычное в калейдоскоп чудес. В ее грезах вырисовывались мягкие, едва уловимые линии детского лица, а на холсте души запечатлевались мимолетные, эфемерные эмоции. Мир, увиденный сквозь призму невинных глаз, обещал раскрыть ей доселе неведомые грани красоты, преломляя повседневное в феерию дивных преображений. Предстояло чудо, восходящая звезда, что озарит их общий, безграничный небосклон ярким, вечным сиянием. Их грядущее простиралось бесконечным полотном, созданным из нитей света, любви и нескончаемого творчества, где каждая деталь обретала сакральный смысл.

Предвкушение грядущего материнства, волной эфирного сияния, нахлынуло на студию Николь, преобразив ее сакральное пространство в алтарь ожидания, с каждым солнечным лучом, проникающим сквозь старинные окна и становящимся благословением. Она видела дитя, намеченное нежной линией, первым, трепетным мазком на нетронutom холсте бытия, предвкушая его рождение актом величайшего искусства, воплощением самой сути мироздания. На полях ее скетчбуков, дневников души, возникали легкие, воздушные наброски-видения: крошечные, не знающие мира ручки; спящее, безмятежное личико, окутанное облачком волос, нимбом ангела, покоящегося в безмятежной дреме. В своих мыслях она переносила на холст бархатные изгибы детского тела, ловила эфемерные улыбки, представляя солнечный луч, скользящий по колыбели и превращающийся в центральный мотив целой серии работ, сплетающей воедино земное и небесное, мимолетное и вечное. Каждый восход солнца становился

новым шагом по священной тропе, ведущей к незримому, но осязаемому чуду, к воплощению плоти и крови, предчувствуемому ею. Ее палитра впитала эссенцию предвкушения, обретя свежие, чистые, сакральные оттенки, мерцающие подобно утренней росе на лепестках вечности, обещая невиданные ранее цветовые симфонии.

В каждом взмахе кисти пульсировала нежность, в каждом смешении красок – безмолвная молитва, предвещавшая пришествие иной реальности, нового измерения ее бытия. Она прикасалась к животу, чувствуя невидимую, но осязаемую нить, связывавшую ее с пульсирующей внутри жизнью – нежным, неслышным биением сердца, камертоном собственного бытия, настраивающим ее на иную, глубочайшую октаву. Чувство абсолютной полноты, глубочайшей, мистической связи с самой сутью мироздания, с его первозданной, нетронутой красотой, с его бесконечным циклом созидания, наполнило ее. Окружающее пространство вибрировало в унисон с ее душой, исполняя древнюю, безмолвную песнь созидания, и она, словно откликнувшаяся струна, пела вместе с ним. Ее сердце, распахнутое навстречу бесконечности, превратилось в открытую книгу, где каждая страница была исписана золотыми чернилами глубокой, безграничной, всеобъемлющей любви, предвещающей радость и неизбежную, щемящую нежность грядущих потерь.

А потом наступила оглушающая тишина, предвещающая катастрофу. Мир, еще вчера созданный из солнечных нитей надежды и предвкушения, рухнул, сменившись бездной ледянящей пустоты, настигшей ее безжалостным, нерушимым валом, не оставив ни единого шанса на спасение. Сперва боль явилась едва уловимым, но настойчивым шепотом, пронзающим сознание тончайшей иглой, предвестником грядущей бури. Душа, отчаянно цеплявшаяся за иллюзии, силилась ее отвергнуть. Вскоре тот тихий голос, мутировав в пронзительный, разрывающий крик, вонзился в самое ее нутро, выжигая огненный след на израненной плоти и духе.

В памяти остались призрачные, расплывчатые очертания больничной палаты, где воздух, пропитанный стерильностью и запахом отчаяния, давил на виски невидимым прессом. Слова врача, произнесенные отрешенным голосом, обернулись смертным приговором, лишившим ее кислорода и будущего. «Мы сделали все, что могли...» – эхо, звенящее в опустошенных чертогах сознания, стало финальным аккордом погребальной симфонии ее несбывшейся мечты. В роковой миг, жестоко и бесповоротно, из нее вырвали хрупкий росток потенциальной жизни и целую вселенную, уже сформированную в ее воображении, отняли часть ее души, унеся с собой безвозвратно сияющий фрагмент грядущего, ей уже отчетливо виденный. Физические муки, терзавшие тело, оказались прелюдией к пустоте, зияющей теперь на месте ее разрушенных надежд.

Горе обрушилось исполинским цунами, стирающим с лица земли привычный ландшафт бытия, безжалостно смывшим все оттенки красок, каждый обертон звуков, любые сокровенные смыслы, оставив после себя серую, бесплодную равнину. Студия, некогда пульсирующая светом и вдыхающая жизнь в каждый мазок, превратилась в ледяную гробницу творческого духа, чуждую и враждебную. Кисти, застывшие в вечном ожидании, дремали в забвении, а холсты, белоснежные и девственные, взирали на нее укоризненными, немymi пятнами, отражая ее внутреннюю опустошенность. Невыносимой была мысль о том, что внутри нее, в самом сокровенном святилище ее существа, не смог укорениться и расцвести крошечный мир, драгоценный росток, трепетно оберегаемый и ожидаемый ею. Нестерпимое чувство вины, едкая кислота, разъедала ее изнутри, оставляя на душе незаживающие рубцы. Она ощущала себя несостоявшейся – женщиной, плоть которой, священное вместилище жизни, не справилась с величайшим своим предназначением, и творцом, руки которого, привыкшие дарить миру красоту, оказались бессильны перед лицом Смерти. Ее тело, прежде верный инструмент воплощения дерзновенных замыслов, теперь обернулось предателем, чужим и враждебным, разрушившим мечту и саму основу ее бытия.

Смерть нерожденного дитяти предстала ей катаклизмом, низвергшим в пучину целую вселенную, мерцавшую в утробе надежд. Исчезла не только хрупкая, неоформленная сущность, призванная стать плотью от плоти, но обрушился и алтарь ее собственного «я», выстроенный из воздушных замков материнства, хрустальных сфер семейного тепла, лабиринтных троп грядущего, каждый поворот которых сулил счастье. Мир, прежде расцветавший в сознании палитрой немыслимых оттенков, ныне обернулся застывшей фреской, созданной из пепла и забвения. Тотальная серость затянула лучи света и вздохи цвета, лишив их полутонов и жизни. Рассветы утратили пророческую мощь, не обещая более таинства чуда. Закаты, прежде наполнявшие золотистой меланхолией, теперь рассыпались прахом, окрашивая небеса в оттенки небытия. Потухла вера в изначальное добро, древний светильник, мерцавший в глубинах глаз двумя далекими звездами, ныне объятый мраком. Пересохли некогда полноводные реки смеха, оставив потрескавшееся дно. Увяли пышные, фантастические сады воображения, превратившись в безжизненные пустыри. Звенящая, пронзительная тишина, способная заглушить даже призрачный шепот опавшей листвы, осталась спутницей, растворяясь в безбрежной, гнетущей пустоте, куда тонущий корабль – ее измученная душа – медленно погружался.

Тень предчувствия, незримый, но осязаемый фантом, давно парила в разреженном воздухе, задолго до рокового мгновения, расколовшего хрупкий мир Николь на две безвозвратные половины: до и после. Возможно, ее сознание, осиянное слепящим фейерверком счастья, укрытое пышным пологом предвкушения материнства, поглощавшего все ее помыслы и чувства, просто отвергало зловещие знаки, предпочитая оставаться в иллюзорном плену ожидания. Ныне, вглядываясь в зеркало минувшего, ее взор, острый клинок, пронзал туман времени, обнажая трещины в монолитном фундаменте их общей жизни. Тогда, в ослепительном свете наивности, они представлялись причудливой игрой солнечных бликов, танцующих на поверхности воды. Внезапные, тягучие паузы в речи, возникавшие при тщетных попытках облечь в слова ускользающие мысли Андрея, погруженного в лабиринты рукописей. Его глаза, прежде лучистые, теперь сужались до опасных щелей, взгляд хищника, выслеживающего добычу, скользящего с болезненной тщательностью по строкам рецензий, возносящих на пьедестал славы чужие имена. Нарастающая, явственная тяжесть в шагах, каждое движение которой отзывалось глухим эхом в ее сердце, тогда, в наивном заблуждении, списывалась ею на обыденную усталость, накопленную в творческом поиске – все это стало предвестниками. Андрей, ее Андрей, человек, фигура которого высечена из гранита непоколебимой уверенности. Творчество, могучий кедр, укоренившийся в почве его существа, начало неумолимо, незаметно, необратимо меняться. Она, в нежной уязвимости, приписывала тревожные метаморфозы предродовому стрессу, невидимой пеленой окутывавшему ее разум, или собственной, обострившейся до предела чувствительности, способной улавливать малейшие флуктуации в атмосфере их мира. Семена сомнения, посеянные в плодородную почву подсознания, дали ядовитые всходы, прорастая сквозь толщу ее упований. Горькие плоды их проявились, когда мир вокруг нее, пораженный заклятием, погрузился в оглушительное безмолвие.

Слова, слетевшие с его губ, обрушились на ее изъязвленную душу целыми глыбами, погребая последние искры надежды. – Я... я избрал иной путь. Путь коммерции, – прошептал он. Чуждые, пошлые звуки разорвали тонкую вуаль ее оцепенения. Николь, окутанная ветхим пледом, нити которого давно утратили способность дарить тепло, сидела, подобно изваянию, в кресле, чьи объятия не утешали. Ее взгляд, доселе рассеянный, потерянный в лабиринтах скорби после пережитой трагедии, медленно, с мучительной сосредоточенностью, пронзил фигуру Андрея. Он, обернувшись к окну, спиной к ней, был высечен из тени. Солнечный свет, некогда золотивший его пряди, теперь лишь нимбом очерчивал силуэт, превращая его в безликого незнакомца, отбрасывающего длинную тень на мрачный пол.

Шок пронзил ее естество, острым клинком перерубив нить дыхания; мир вокруг сжался до единственной, невыносимой точки. В ее сознании Андрей всегда был храмом, посвящен-

ным чистоте искусства, жрецом, не знающим компромиссов. Его принципы возвышались, подобно древним обелискам, незбылемые и вечные. Талант сиял священным огнем, питавшим их общую вселенную. Он был ее вторым «я», зеркалом, отражавшим внешность и глубины души, ее безмолвным сообщником, улавливающим эхо мыслей, разделявшим каждый порыв. И вот теперь, из уст храмового жреца, прозвучало слово «коммерция» – грязный, вульгарный звук, кощунством оскверняющий святилище их веры.

– Коммерция? – выдохнула она. Чужой, хриплый шепот был вырван из глубин ее изуверченной души, едва пробившись сквозь застывшую, мертвую тишину, окутавшую комнату.

Андрей, пораженный невидимым разрядом, вздрогнул, медленно поворачиваясь. Глаза, прежде сиявшие внутренним светом, теперь были потухшими провалами, сквозь которые проглядывала бездонная пустота, как после погасших звезд. Изможденность высекла глубокие, прежде незнакомые борозды на лице. Плечи, некогда могучие, теперь поникли под невидимым бременем, предчувствуя крах привычного. – Я обязан, Николь. Нам нужны средства. Мои манускрипты больше не находят отклика. Я не могу... – слова застряли в горле, превращаясь в прах.

– Ты не смеешь предать себя, Андрей! – голос ее, обретя внезапную, неземную силу, пронзил воздух криком боли, вырывающимся из самой сердцевины бытия. – Мы же всегда исповедовали: «Важно оставаться верным своему истинному голосу, неподвластному суете бытия!» Как можно... обменять свою душу на... – Последние слова растворились в воздухе. Их смысл повис густой, липкой, ядовитой паутиной.

Ощущение предательства разъедало ее изнутри. Это было отступничество от его таланта, поругание общих идеалов, священного творческого союза, лелеянного ими с трепетной нежностью. Их мир, возведенный на фундаменте веры в чистое искусство, на безоговорочной честности перед холстом и перед лицом судьбы, теперь, как карточный домик, рушился, рассыпаясь в прах прямо у нее на глазах. Как мог он так легко отбросить все, формировавшее саму его суть – его внутренний свет?

И самое страшное, самое чудовищное свершилось сейчас. Существование ее было разорвано на бесчисленные лоскуты. Она барахталась в бездне скорби, сражаясь с ее безжалостными течениями. Он же погрузился в нечто ничтожное, циничное, оскорбительное в своей мелочности. Она утратила реальную жизнь, часть своей души, будущее, которое расцветало в ее воображении, но теперь обратилось в мимолетный сон. Он «продал» свою творческую душу за призрачные монеты, за эфемерное одобрение рыночной суеты. Для нее случившееся стало разочарованием, очередным, сокрушительным подтверждением того, что сам миропорядок окончательно сошел с ума. Ее трагедия была всеобъемлющей, невыносимой; отречение же Андрея предстало перед ней фарсом, злой, издевательской шуткой, камнем, брошенным в самое сердце ее горя.

Дни, свинцовая река забвения, влачили, окутывая мир Николь тягучей пеленой беспросветной серости. Из глубин собственного оцепенения, ставшего ее единственным убежищем, она, призрак, созерцала медленный закат Андрея. В стенах кабинета, ставшего ему тюрьмой, он проводил бесконечные часы, подчиняясь монотонному стуку клавиш. Безжизненный ритм нажатий, лишенный прежней мелодии вдохновения, теперь отбивал пульс меркнувшего духа. Густой, затхлый воздух, пропитанный едким ароматом застарелого кофе и горькой пылью несбывшихся надежд, душил любые проявления жизни, уплотняясь вокруг его неподвижной фигуры. Исчезли былые страстные споры с собой, эхом отдававшиеся по дому. В его глазах более не вспыхивали огни внезапных озарений, не побуждая вскакивать за ускользающей мыслью. Движения его, некогда полные внутренней силы, стали механическими, как у марионетки, управляемой незримыми нитями отчаяния. Взор, застывший янтарной каплей, навеки запечатлевшей отголоски прежних стремлений, был устремлен в пустоту экрана. Изредка призрак давно ушедшего себя возникал из своего заточения, принося Николь чашку чая. Его фантом-

ные, извиняющиеся прикосновения подчеркивали бездну отчуждения, разверзшуюся между ними. Физически близкий, он оставался бесконечно далек, заточенный за стеклом невидимой стены. Однако ее взгляд, пронизывающий покров обмана, видел агонию его души, ощущал его мучения, наблюдая тщетные попытки выдавить слова. Слова, отказывающиеся рождаться из сердца, вымучивались из опустошенного разума, словно яд.

Тени его «новых» текстов – бездушные обрывки фраз, мелькавшие на экране забытого Андреем ноутбука – являли лишь бледные отголоски бывшего величия, лишенные искры жизни. Они были гладки, выхолощены, безупречно правильны в мертвой форме, пусты – отполированные волнами, безжизненные раковины, выброшенные на берег забвения. В них не отзывалось эхо его неповторимого голоса, не пульсировал уникальный ритм его мысли, не проступало глубокое мистическое понимание человеческой природы, прежде озарявшее каждую строку. Для Николь случившееся не являлось творческой неудачей, мимолетным, преодолимым кризисом. Нет, в ее пронзительном взгляде это представало неизмеримо ужаснее – медленной, агонизирующей смертью его таланта, удушением гения, обреченного на забвение. Она видела иссякание его внутреннего источника, животворящего родника вдохновения. Видела угасание священного огня, некогда ярко горевшего, освещавшего их общий путь, ставшего путеводной звездой. И в угасании, в медленном умирании, она видела еще одно эхо своей невосполнимой потери, еще одно сокрушительное подтверждение: мир вокруг них, когда-то построенный ими на хрупких нитях мечты, медленно, но верно низвергался в небытие.

Студия Николь, некогда лучезарная обитель света и вдохновения, ныне превратилась в мертвую зону, где каждый шорох предвещал небытие. Ежедневно, проходя мимо ее наглухо запертой двери, она ощущала ледяную дрожь, пробегавшую по позвоночнику, предвещая встречу с призраками несбывшихся замыслов. Она была не помещением, а склепом, в вечном безмолвии покоившим часть ее души, погребенную под обломками разрушенного мира. Внутри царил хаос, зеркально отражающий ее внутреннее смятение: заброшенные холсты, призраки незавершенных историй, прислонялись к стенам, шепча о потерянных мирах; засохшие краски в тюбиках, застывшие слезы невыраженной боли, хранили память о ярких оттенках, не воплотившихся на холсте; кисти, покрытые толстым слоем пыли, лежали, забытые инструменты хирурга после неудавшейся операции, оставившей жертв безмолвными. Солнечный луч, прежде танцевавший в помещении, оживляя пространство, теперь проникал сквозь пыльное стекло бледным, безжизненным призраком, подчеркивая мертвую неподвижность застывшего времени. Воздух здесь был тяжелым, густым, не бодрящим ароматом творчества, а удушающим запахом нереализованных надежд и увядшего вдохновения, вечным свидетелем жизни, покинувшей их.

Ведомая призрачным эхом бывшего спасения или томимая агонией безысходности, холодной волной, накатывающей с новой силой, Николь, наконец, заставила себя переступить порог. Дверь, древняя стражница творческой обители, вздохнула протяжно, разорвав пелену вековой тишины, плотно окутавшей каждый предмет, каждую пылинку в опустевшем пространстве. Шаги, едва слышные, эхом отдавались в гулком воздухе, неся ее к мольберту, где, бесшумным призраком, взывающим к забытым мечтам, виселось девственное полотно – насмешливый алтарь опустошенной души. В белизне холста не таилось ни проблеска грядущего образа, ни искры, способной разжечь угасший огонь, ни даже тени, предвещающей хоть какую-то форму. Лишь собственное отражение, фантом измученного сознания, с потухшими глазами, взидало на нее из немой пустоты, являя миру безграничную пропасть скорби – столь чудовищную и безобразную, что искусство не смело бы прикоснуться к ней, не осквернив свою божественную суть. И как, вопрошала она себя, можно было перенести черноту на холст, не превратив его в надгробие, не запятнав его чистоту?

Повинуясь древнему, рефлкторному зову, длань, дрожащая, как осенний лист, готовый оторваться от ветви, потянулась к карандашу, некогда верному орудию ее воли. Неуверенно,

с затаенным страхом, она попыталась начертать первые линии, но рожденные ими штрихи, извиваясь на белоснежной глади, являли собой призраки прежней уверенности – ломаные, неживые, выведенные чужой, неумелой рукой, никогда не ведавшей истинной страсти. Каждое касание грифеля, каждый несмелый росчерк оборачивался фальшью, бессмысленным эхом утраченного мастерства, лишь подтверждением полного бессилия. Взяв кисть, она смешала краски, но их прежний хор, где синий пел в унисон с изумрудом, а алый разгорался пламенем рядом с оранжевым, создавая симфонию света и тени, теперь умолк. Желтый, лишенный золотистого тепла солнечных объятий, был бледной тенью себя, тускло мерцающей на палитре. Синий, утративший глубину морских пучин, выглядел мелким и безжизненным, как застоявшаяся вода. Красный, лишившись пылающей страсти, стал багровым пятном, безмолвно застывшим. Они не дышали, не жили, не взаимодействовали, оставаясь бездушными пигментами, немymi свидетелями ее опустошения, неспособными пробудить ни единой искорки минувшего вдохновения.

С каждой новой, тщетной попыткой, ядовитым плющом оплетало ее отвращение – к собственному мастерству, к самой себе, как к жрице некогда священного искусства. «Как смею я касаться красоты, когда внутри меня бушует гнетущее опустошение и терзающая боль? – роптал внутренний голос, чуждый и приглушенный, подобный ее бесплодным творениям. – Ложь, святотатство. Мое искусство всегда было зеркалом правды, но истина сейчас – бескрайняя, удушающая чернота, затмившая все оттенки бытия». Мысль о попытке запечатлеть нечто прекрасное, когда душа истекала кровью невидимых ран, казалась кощунственной, предательством скорби, насмешкой над безвозвратно утерянным, над навсегда оставшейся в ней зияющей раной.

Мир, некогда кладезь вдохновения, ныне представал перед Николь плоским, обесцвеченным силуэтом, утратившим всякий смысл и прежнее величие, старой, выцветшей фреской. В его застывших очертаниях она более не различала сокровенной искры, незримой магии, прежде живительным нектаром питавшей кисть, пробуждая к жизни каждый мазок. Каждое дерево, некогда шептавшее предания ветра в лиственных кронах и танцевавшее с солнечными лучами на шершавой коре, теперь было немym столбом древесины, неодушевленным. Каждое лицо, прежде хранившее бездну тайных историй и пульсирующих эмоций, теперь являлось застывшей маской, поверхностной. Городской пейзаж, некогда пленявший динамичной игрой света и тени, острыми контрастами и неуловимым ритмом жизни, обратился в бездушное нагромождение бетона и стекла, неподвижно взирающее на угасающий дух художницы. Она утратила свой «магический» взгляд, способность проникать за завесу видимого, ощущать незримый пульс бытия в самых обыденных вещах. Мир вокруг, отражение ее сердца, стал безжизненным, как опустевшая студия, как девственные холсты. Он не просто угас – он стал для нее невидимым, будто она навсегда лишилась благословения воспринимать его в ярких, живых красках, что когда-то составляли ее сущность, ее дыхание, ее саму, растворившуюся теперь в беспросветной мгле.

Андрей, призрак собственного былого, бесшумной тенью скользил по опустевшим залам их общего дома, где каждый вздох отдавал эхом ушедшего счастья. Плечи, ссутуленные под незримым бременем, представляли собой скорлупу, несущую осколки разбитого неба. Взгляд, прикованный к полированному дереву пола, искал спасительную бездну, способную поглотить отражение изувеченного лика. Отступничество, ядовитая сделка с собственной совестью, стало свинцовым якорем, обрастающим липкими водорослями стыда и едкого отвращения к себе, неотвратимо тянущим его к дну самозабвения.

Боль Николь, холодный сквозной ветер, проникала под кожу, шепча о своем существовании. Андрей, запертый в лабиринте вины, не осознавал ее истинной, океанской глубины. Как он мог, когда душа его, некогда сияющий витраж, лежала в руинах, а дух, древний храм, был сломлен и осквернен? Он был глубоко погружен в личный, безжалостный ад, в нескон-

чаемую алхимию самооправдания, в отчаянные попытки заглушить ядовитые укусы совести. Ее горе он воспринимал как еще одно, неоспоримое подтверждение своей никчемности, игнорируя отчаянный призыв к участию, к искуплению. Поправ свои идеалы, оборвав струны на священной лире, он так и не понял: для Николь предательство означало крах их совместного будущего, неписаного договора о чистоте искусства, незыблемости веры в истину, составлявшей саму суть их союза.

Николь носила обиду. Она ощущалась невидимым покровом, тяжелым, сформированным из теней и молчания. Ледяные складки его обволакивали каждую клеточку ее существа. Каждый его шаг, отмеряющий пространство их отчуждения, каждый его вздох – фальшивая нота в тишине – был нестерпимым напоминанием о совершенном им выборе, о священной черте, цинично переступленной им. В изменившемся облике она видела предателя, уничтожившего свои принципы, ее хрупкую любовь, их совместные, некогда сияющие мечтания. «Как он мог?» – вопрос, раскаленный добела гвоздь, пульсировал в ее висках, заглушая все остальные звуки мира, превращая его в монотонный, мучительный звон. Он разорвал саму ткань их совместной реальности, распустил нити переплетенных судеб. Их будущее, представляемое ею ярким, наполненным светом мастерской и дерзкими экспериментами, рассыпалось в прах, как древняя фреска, обрушившаяся со стен. Он, архитектор катастрофы, уничтожил свое и ее видение мира, ее способность верить в незыблемость принципов, оставив после себя неизмеримую пропасть отчаяния.

Они обитали в одном пространстве; между ними, словно тектонический разлом, зияла пропасть, выложенная скрытыми истинами и замурованным молчанием. За столом, где утро являло свою иллюзорную свежесть, сквозь тонкое стекло окна просачивались золотые нити света, заставляя мириады пылинок танцевать в эфире. Но даже в мнимой идиллии ритуальные реплики о погоде или эфемерных планах на день оставались полыми, обескровленными, лишенными всякой души, растворяясь в воздухе призрачным эхом давно замерших колоколов.

Взор Николь, отягощенный невыразимой тяжестью, ускользал испуганной ланью при каждом подъеме головы Андрея. Его взгляд, неожиданный луч, скользил по ее лицу. В мгновения хищные тени сомнений, стаей воронов, набрасывались на нее, терзая остатки былой самости. «Кто я?» – вопрос, безмолвный вопль, запертый в каменных сводах отчаявшегося духа Николь, отдавался глухим эхом в самой сердцевине ее бытия. Она опускала глаза на свои руки, прежде искусно танцевавшие с кистью, рождавшие миры из цвета и света, а ныне безжизненно покоившиеся на коленях, – осколки древней, разрушенной статуи. «Кто я, если иссяк источник, питавший мою суть? Если муза, что когда-то шептала вдохновение, обратилась в прах?» Двери мастерской, врата в заброшенный храм, были наглухо сомкнуты. Мольберт, бывший когда-то пьедесталом для рождения целых вселенных, ныне являл тень былого величия, погребенный под невесомой пеленой забвения. Кисти, прежде жадно впитывавшие краски жизни, теперь – мумифицированные лепестки – мертво торчали из стакана, щетина затвердела в безмолвном проклятии.

Душа Николь иссохла до самого дна, оставив эхо былой полноты. Этот провал являлся одним из множества лабиринтов внутреннего ада Николь. «Кто я, если колыбель моего естества осталась пуста, лишенная священного дара?» Каждый раз, проходя мимо витрины с немимым укором застывшими игрушками, предвещавшими несбывшиеся мечты, сердце Николь, словно пойманная птица, билось в агонии, затем распускалось ледяным водопадом самобичевания, обжигающим до самых глубин: «Моя вина. Я не смогла. Не уберегла». Слова, раскаленные клейма, выжигали на душе Николь неизгладимые письмена. Воспоминание о выкидыше – незаживающая стигма, сочившаяся болью при каждом вдохе и мимолетном взгляде на Андрея. Он нес свою ношу в безмолвном одиночестве, древний титан, прикованный к скале. И тут же новая стрела, выпущенная из лука отчаяния, пронзала Николь: «Я не могу поддержать его. Как мне стать опорой в бушующем море с собственным кораблем, разбитым в щепки? Как мне

быть несокрушимой колонной, когда-то поддерживавшей наш общий храм, если его действия, в моих глазах, низвергли основополагающую ценность сокровенного союза в пучину?»

Как острый осколок кремня, расколовший сердцевину существа Николь, нещадно пульсировал в сознании вопрос: «Андрей предал все, во что я когда-либо верила?» Ядовитая мысль, древним змеем свиваясь вокруг стержня отчаявшегося духа, отравляла каждый вдох и выдох. Андрей изменил направление жизненного пути; беспощадный демиург, он перекроил ткань совместной реальности, низвергнув ее с пьедестала нерушимых принципов в пропасть непонимания. Будущее, некогда сиявшее в воображении величественным собором, омываемым животворным светом мастерской и наполненным дерзновенными экспериментами, теперь представало грудой руин. Каждый фрагмент витража, игравший всеми цветами надежды, превратился в безжизненный прах, а мужчина, спутник, стал архитектором безмолвной деградации. Этот человек разрушил собственное видение мира, подорвав способность доверять незыблемости основ и сакральности их совместной стези.

Ощущение бессмысленности, студеной, медленно расползающейся ртутью, проникая в потаенные уголки вен, парализовало волю, гася последние отблески внутренней искры. «Зачем искусство, когда муза, шептавшая вдохновение, обернулась скорбным призраком? Зачем жизнь, когда живительный источник иссяк, оставив безмолвную пустыню? Зачем отношения, когда между нами, неприступной стеной, высится горное плато лжи и разочарования, разделяя нас на два одиноких острова?» Душа, выпотрошенная, превратилась в опустевший колодец, сквозь высохшие стенки которого свистел ледяной ветер, нашептывая древние элегии о потерянном. Она, художница, осталась тенью себя прежней, с палитрой, обратившейся в пепел, и холстами, погребальными саванами, нетронутыми, застывшими в ожидании кисти, никогда больше не касающейся их поверхности.

Страх. Он был вечным спутником, призрачной тенью, скользящей по пятам, с ледяным дыханием, касавшимся затылка, шепотом, эхом из небытия, проникавшим в глубины сознания в тишине предутренних сумерек и в ослепительном, чужом свете дня. «Неужели я никогда не вернусь к прежней Николь, наполненной жизнью, неукротимой страстью, безграничной верой? Неужели сущность, вибрирующая, искрящаяся, умерла навсегда, оставив безжизненную оболочку? Неужели душа вовек останется пустой, бездонной, как дом, как жизнь, лишенная смысла и света?» Это чувство было липким, удушающим, паутиной, созданной из кошмаров, и она, запутавшаяся в нитях, не знала, как вырваться из вязких объятий.

Каждый предмет в доме – старый мольберт, застывший в углу забытым алтарем, полка с потрепанными томами по искусству, храня отзвуки несбывшихся мечтаний, даже потертый ковер, видевший столько совместных вечеров, теперь служил немим, скорбным свидетельством отчуждения. Воздух здесь был тяжелым, вязким, осязаемым, пропитанным густой пеленой упреков и глубокого разочарования, а не ароматами творчества, невидимым саваном окутывая все вокруг. Тишина, прежде бывшая уютной гаванью, теперь стала давящей, враждебной сущностью, прерываемой редким, осторожным скрипом половиц под неуверенными шагами, будто опасавшимися нарушить хрупкий, иллюзорный покой, единственную форму трагического сосуществования. Они были пленниками переплетенной истории, заключенными в лабиринте общих воспоминаний, разделенными не стенами, а невидимой, непреодолимой преградой боли и непонимания, возведенной между их сущностями.

Тишина, некогда лишь фон, теперь сгустилась, обретая плотность древней воды, поросшей мхом забвения. Каждый звук, неосторожно оброненный, стал святотатством. Телефон, прежде гудевший ульем, переполненным голосами друзей и эхом галерей, ныне пребывал в погребальной безмолвности, изредка вспыхивая дисплеем, напоминавшим о призрачном существовании. Но Николь, отвернувшись от его настойчивого, тщетного зова, окутывала себя непроницаемой завесой обособления, созданной из непроизнесенных слов и обрушившихся надежд.

Андрей, невольный свидетель медленной агонии, в полумраке комнаты различал прозрачное мерцание монитора, высвечивавшего имени, некогда излучавшие тепло и веру: Лена, их общая подруга, чей смех когда-то наполнял стены солнечными зайчиками; или Игорь, владелец выставочного зала, колыбели, взлелеявшей первые, дерзкие мазки ее кисти. Николь, словно древнее божество, отринувшее мольбы адептов, лишь отводила взгляд. Его черты, прежде живые и открытые, ныне застыли в маске непроницаемой отстраненности, а губы превращались в тонкую, безжалостную линию, готовую разрубить последние связи. Андрей чувствовал: с каждым прерванным сигналом, каждой не отвеченной попыткой достучаться, она беспощадно обрывала очередную невидимую нить, связывавшую ее с миром – ее животворящим источником, драгоценным воздухом, без которого она не могла дышать.

– Тебе звонили, – однажды, преодолев незримый барьер молчания, прошептал Андрей, указывая на вновь замерцавший дисплей. Его свечение болезненным пульсом пробивалось в общей тишине, нарушаемой лишь шелестом старых листов. В ответ последовал легкий, незаметный взмах плеч. Николь, не поднимая взора от страниц фолианта, по которым ее глаза скользили, не впитывая смысла, предпочитала оставаться в плену собственной бездны, выстроенной из обломков прошлого.

– Пусть. Слова мои иссякли, нет мне ничего для них, – отозвалась она. Ее голос, эхо из опустевшего склепа, прозвучал плоско, лишенный живой интонации, обращенный к безмолвной, поглощающей вселенной, развернувшейся между ними, холодной, необъятной.

Отказы от манящих горизонтов выставок и заманчивых предложений, суливших новые дали, давно обернулись обыденной рутинной, частью медленного угасания. Письма, запечатанные обещаниями славы и признания, приглашения на вернисажи, прежде вселявшие в ее сердце трепетное предвкушение и творческий восторг, теперь покоились на столе нераспечатанными, некрологами по несбывшимся мечтам. Еще горше – они обретали свой конец, скомканные, растерзанные, в бездне мусорной корзины.

Андрей, обнаруживая свидетельства добровольного изгнания, ощущал: его душа сжимается в тисках невыносимой боли, удушающей тревоги, предчувствуя неминуемую утрату, медленно подкрадывающуюся как призрак. В его памяти прокручивались образы былого: Николь с глазами, горящими неистовым пламенем, вещающая о невиданных сериях, о холстах, призванных вобрать в себя суть бытия, передавая ее через оттенки и тени; Николь, пропадавшая ночи напролет в святилище мастерской, атмосфера которой пропитана скипидаром и ожиданием, каждый мазок художницы – молитва. А теперь... теперь дверь в ее творческое убежище была наглухо заперта, запечатана печатью отчаяния. Ее талант, экзотический цветок, лишенный животворного света и влаги, медленно, неотвратимо увядал в душном пространстве квартиры, превращаясь в безмолвный призрак прежнего, уносимый ветрами небытия.

Его душа, подобно осадному оружию, тщетно билась о неприступные стены ее отчуждения, ища малейшую трещину, крохотный зазор в невидимой, но осязаемой броне, окутавшей ее существо и превратившей ее в безмолвную, недостижимую цитадель.

– Николь, – прошептал он, вплетая в голос невесомость осеннего листа, плавно кружащего в предчувствии земли, – быть может, прогуляемся сегодня по парку? Золотой ковер палых листьев зовет к себе, шепча о красоте увядания, меланхоличной грации прощания... – Он надеялся, что призыв, созданный из хрупкого света и тихих обещаний, пронзит пелену ее безразличия, не обременяя ее душу давлением.

Ее взгляд, поднявшийся медленно, не нес ни испепеляющего пламени гнева, ни скорбной печали, лишь безграничную, леденящую апатию, безмолвную пустыню, умертвившую все чувства, погребшую даже эхо. – Зачем? – прозвучало в ответ, и каждое слово, как заостренный осколок вечного льда, сорвавшийся с неприступных вершин ее души, вонзилось в израненное

сердце, – Чтобы стать свидетелем агонии природы, ее предсмертного танца? Мой дух исчерпал силы для подобного зрелища; он сам ныне лишь тень, скользящая по краю небытия.

Исторгнутый крик, подобный древнему проклятию, пронзил тишину комнаты и его оцепенение: разряд молнии, расколовший безмятежное небо. – Неужели ты не видишь?! Неужели не постигаешь? Мой внутренний мир опустошен, я не способна более выводить на холст фантомы, безликие маски, мертвые отражения чужих жизней! Руки, некогда послушные воле сердца, ныне обратились в чужие, неподвластные инструменты. Душа умерла, погребенная под обломками несбывшихся надежд, превратившись в мертвую воду, не способную более отражать небеса! – Она вскочила, подброшенная невидимой силой. Опрокинутый стул глухим стуком возвестил крушение последних бастионов ее сдержанности, конец долгой, мучительной осады. Лицо ее пылало багровым заревом отчаяния, словно закатом, предвещающим бурю. Глаза метали молнии, сулящие гибель мира, разрушение привычных координат. Пред ним была не Николь, которую он знал, не безмятежная нимфа с сердцем-источником света, с мыслями-ручьями мудрости, с сутью, парящей в зените творческого вдохновения, подобно вольной птице над миром. Пред ним предстала истерзанная фурия, загнанная в лабиринт собственного страдания. Боль, выплеснувшаяся наружу раскаленной лавой, обжигала его до самых глубин существа, оставляя несмыслимые шрамы.

Андрей отшатнулся, пораженный невидимым клинком. Тотчас его внутренний мир, сжавшись до размеров пылинки, погребенной под гнетом вселенской вины, уподобился древнему городу, ушедшему под землю. Безмолвный, оглушительный шепот пронзил его сознание, эхом отдаваясь в опустошенных чертогах разума: «Она проклинает мое имя, ненавидит меня до основ своего бытия. Я – палач, сокрушивший не только эфирные замки ее мечтаний, звездные мосты ее устремлений, но и священную искру способности чувствовать, творить, дышать жизнью. Мое преступление. Тяжкий крест, навечно пригвожденный к моей душе, к древу скорби». Он ощущал себя ничтожнейшим из праха земного, мельчайшей песчинкой в огромной пустыне, наблюдая угасание некогда возносимого на пьедестал божества. Она растворялась, превращаясь в призрачную тень, как свеча, чей фитиль догорел до конца, оставляя едкий запах горечи. Желание обнять ее, прижать к себе, шепнуть слова утешения, обещавшие исцеление, застряло в горле свинцовым комом, не вырываясь наружу. Его руки были опутаны незримыми цепями, сплетенными из его преступлений. В голове, набатом, звучал один испепеляющий вопрос: «Как мог я быть столь слеп? Столь эгоистичен, чтобы не распознать в «приспособленчестве» смертный приговор, подписанный ее кровью, медленно, но верно разрушавший ее изнутри?»

С каждым уходящим днем, ускользящим часом, он ощущал ее неумолимое отдаление, словно фрегат-призрак, растворяющийся в бескрайней акватории забвения, оставляя его одного на безлюдном берегу, омываемом солеными волнами отчаяния, где ветер шепчет древние элегии. Прежде ее смех был симфонией, созданной из солнечных лучей и весеннего ветра. Споры – искрой, зажигающей пламя жизни. Присутствие – маяком, освещавшим его путь сквозь туман неизвестности. Ныне она превратилась в хрупкий сосуд из тончайшего фарфора, готовый рассыпаться в прах от малейшего дуновения, неосторожного прикосновения. Андрей, окутанный страхом-саваном, боялся сделать движение, чтобы не разрушить последнее, едва тлеющие угольки ее угасающего естества, чтобы не превратить ее в окончательную пыль. Он был свидетелем медленного, мучительного угасания некогда сияющего внутреннего света, таявшего, как снежинка, на горячей ладони. Зрелище, словно невидимым огнем, сжигало его изнутри, превращая каждый вдох в пытку, каждый миг в вечность. Осознание его проступка, выжженное каленым железом на скрижалях сознания, не давало покоя ни под покровом милосердной ночи, ни в жестоком свете безжалостного дня, обрекая на вечное блуждание по лабиринтам скорби, без начала и конца, по бесконечному пути к искуплению, которое никогда не наступит.

В тот вечер небеса скорбели над миром, проливая на обнаженные ветви деревьев холодный дождь. Порывы осеннего ветра, словно израненные души, метались за окном. Хрустальный мост, созданный из незримых клятв и призрачных надежд, рухнул. Андрей, набравшись храбрости, попытался вновь заговорить о будущем, о том, что им нужно что-то менять. Он не успел договорить.

– Будущее?! – Голос Николь, обычно струившийся как шелк, разорвал мертвую завесу тишины, резко прозвучав как треснувшее стекло, пронзая воздух ледяными осколками. Она стояла посреди гостиной, застывшая скульптура отчаяния, обхватив себя руками, пытаясь удержать ускользающую ткань реальности, таящую под пальцами. В глазах Николь, опаленных бессонницей, где некогда светились звезды, ныне горел лихорадочный, мертвенный блеск, отражающий бездну. – Какое будущее ты осмеливаешься созерцать, Андрей? Где ты, Фауст, продаешь бессмертную душу, а я обречена наблюдать, как она медленно, мучительно гниет, превращаясь в прах, не оставив и следа бывшего величия?! – голос Николь был холодным, как лед, но в нем уже трещала хрупкость.

Андрей вздрогнул, пронзенный холодом осознания. – Николь, я... я пытался. Я знаю, что оступился, но клянусь, я исправлю каждый обломок. Я разорвал этот пакт с тенью, этот проклятый контракт. Я больше никогда не буду осквернять бумагу этой чушью, этой ложью. Я люблю тебя. Я... я здесь. – Слова Андрея, слабые, словно шепот угасающего пламени, были жалким эхом запоздалого покаяния.

– Здесь?! – Смех Николь был горьким, сухим, как осенние листья, кружащие по мертвой земле, и беззвучным скрежетом песка, просыпающегося сквозь пальцы. – Ты здесь, Андрей, как призрак давно ушедшей эпохи! Ты здесь, как тень своей собственной тени, растворяющейся в сумерках! А когда мне было по-настоящему плохо, когда мир рушился под ногами, когда я потеряла нашего ребенка – ту угасшую звезду в утробе, вырванный корень нашего бытия?! Где был ты тогда, Андрей? Ты был поглощен своей... своей эгоистичной драмой! Своим «оппортунизмом», что был капитуляцией перед тенью! Ты даже не видел, как я умираю рядом с тобой, как увядает цветок моей души! Твой мелкий, надуманный кризис затмил мою настоящую трагедию, мою опустошающую боль, мои разбитые вдребезги мечты о семье, превратившиеся в прах!

Каждое слово Николь – удар, отравленная стрела, пронзающая Андрея насквозь, выжигая в душе горькую истину. Андрей съежился, чувствуя, как невидимые стены мира рушатся, погребая его под обломками лжи. – Я... я тоже переживал, Николь. Я не знал, как... как найти путь... – его голос был жалким шепотом, потерянным в вихре ее боли.

– Не знал?! – она шагнула к нему, ее лицо, ставшее маской античной трагедии, исказилось от боли и ярости, превращаясь в холст, расписанный агонией. – Ты не знал, как поддерживать женщину, которая потеряла часть себя, ампутированную часть нас, нашего сердца?! Ты был настолько глубоко поглощен своим нарциссическим самобичеванием, этим лабиринтом эгоцентризма, что не видел, как я тону в бездне отчаяния?! Ты предал не только свои эфемерные идеалы, Андрей, ты предал меня! Ты предал нашу любовь, священный алтарь наших чувств, наше будущее, словно разорванный гобелен времени, нашу веру в то, что мы – одно целое, способное пройти сквозь все бури мироздания!

Голос Николь сорвался на пронзительный крик, разрывающий струны души, переходящий в рыдания, словно вопль раненой птицы. Она схватила со стола небольшую статуэтку, хрупкий символ свадебных клятв, застывшую мелодию счастья, и со всей силы швырнула в стену. Фарфор – замерзшие слезы – разлетелся на тысячи мелких осколков, каждый микроскопический взрыв иллюзий. Звон, призрачный и оглушающий, эхом отдался в мертвой тишине, реквием по разрушенным мечтам.

– Я больше не могу так жить! – прошептала она. Шепот, дуновение смерти, содержал отчаяние, пронзившее Андрея ледяным ужасом до самых костей. – Я больше не могу дышать

в доме, ставшем склепом угасших чувств, где каждый угол кричит фресками скорби о лжи, о предательстве, о бездонной пустоте! Хочу исчезнуть! Просто раствориться в эфире, стать частью космической пыли, уйти в небытие, не чувствуя ничего, забыв само ощущение боли!

Взгляд Николь, потерянный странник, скользнул по двери мастерской – некогда сияющего святилища света и цвета, ныне запечатанной гробницы, на протяжении многих томительных месяцев. Внезапно, подхваченная первобытным безумным порывом, рожденным из глубин отчаяния, она, раненая Эриния, метнулась к двери. Древнее дерево, вздохнув под натиском дрожащих рук, распахнулось с протяжным скрипучим стоном, впуская ее в полумрак. Андрей, призрак, прикованный к ее тени, поспешил следом, его шаги нерешительны, сердце сжималось от предчувствия надвигающейся катастрофы.

Мастерская, когда-то пульсировавшая жизнью, каждый мазок кисти которой был биемием сердца, теперь представляла мрачное, пыльное царство забвения, окутанное паутиной несбывшихся снов и угасших амбиций. В ее углах, немые свидетели былого величия, висели незавершенные работы Николь – холсты, застывшие фрагменты души, эхо бурной страсти и неоспоримого таланта, теперь покрытые пеленой времени и скорби. Рука Николь, ведомая невидимой силой, нашла одно полотно – огромное, изображавшее в ярких, насмешливо-солнечных тонах их дом, парящий в лучах надежды – незыблемый символ общих мечтаний, колыбель несостоявшегося будущего. Ее пальцы, некогда нежные, способные рождать красоту из хаоса, теперь дрожали, предвещая бурю.

– Ложь! Все ложь! – вырвалось из груди хриплым, надтреснутым шепотом, осколком льда, пронзившим тяжелый, застоявшийся воздух. Пальцы, преобразившиеся из инструментов созидания в орудия разрушения, с безжалостной яростью впились в холст, разрывая его с глухим, надрывным звуком, криком раненой птицы, падающей с небес. Она кромсала картину на клочки, пытаясь разорвать саму ткань реальности, затем, не переводя дыхания, схватила другую, потом еще одну. Движения хаотичны, безумны, в ритуальном танце отчаяния. Яркие краски, смешиваясь с вековой пылью, клеймили руки, лицо и одежду, превращая ее в живой символ агонии, где каждый мазок символизировал уничтоженную мечту. Одержимая, она крушила творения, вырывая с корнем прошлое, надежды, саму идентичность, оставляя за собой пепел былого «я».

Андрей застыл в дверном проеме, изваяние, парализованный ледяным ужасом. Его взгляд, прикованный к зрелищу, видел женщину, разрывающую холсты, и душу, раздирающую себя на части. Сам же он, скованный невидимыми цепями вины, был неспособен пошевелить ни единым мускулом. Горькое осознание бессилия душило, ядовитым плющом оплетая сердце, связывая по рукам и ногам, не давая сделать ни шагу навстречу.

Иссяк вихрь разрушения, превратив мастерскую в безмолвное кладбище надежд, усталое обрывками разорванных картин, осколками разбитых палитр и опрокинутыми мольбертами. Николь, подкошенное дерево, рухнула на пол, погрузившись в руины собственного мира. Ее тело сотрясало от беззвучных, глубинных рыданий, потрясавших саму основу ее существования. Медленно, с нечеловеческим усилием, она подняла на Андрея опустошенный взгляд, лишенный прежней ярости и упрека, наполненный бездонной, леденящей душу пустотой, поглотившей все оттенки бытия.

– Я... я больше не могу так жить, Андрей, – прошептала она. Ее слова повисли в воздухе, тяжелые и осязаемые, осколки разбитых зеркал, отражающие мертвенный свет. – Я пыталась. Пыталась снова начать. Взяла кисти... но они превратились в чужие инструменты, не слушаются. Руки, некогда продолжение души, отказались служить. Душа... она мертва. Я не могу ничего создать. Источник иссяк. Я... я никто.

Эти слова, эхо древнего проклятия, пронзили Андрея насквозь. Он почувствовал, как сердце, сжимаясь в ледяной комок, превращается в камень. В ее глазах, глубоких и пустых,

он видел разрушенную сущность, ее внутренний мир, обращенный в прах, и погребенные под обломками общей лжи чаяния.

На рассвете следующего дня, когда мир еще не до конца стряхнул с себя покров ночной меланхолии, Николь, пережившая бездну отчуждения и эхо собственных рыданий, пробудилась не с восходом солнца, но с ощущением странной, пугающей кристальности. Фрагменты ее сознания, разбросанные по безмолвной ночи, сложились в новую, болезненную мозаику. Руины мастерской, устланные осколками разбитых полотен, теперь казались отражением обломков ее собственного «я», и уже не вызывали прежнего, испепеляющего гнева. Вместо него, подобно холодному, неумолимому рассвету, пронзающему тьму свинцовых облаков, пришло осознание – безжалостное, как клинок судьбы, рассекающее последние иллюзии.

Покаясь на ложе, ее взгляд, отстраненный, приковался к потолку, к своду рухнувшего храма. Медленно, с мучительной болью, проникающей до самых глубин ее существа, она осознала: пропасть, открывшаяся в ее внутреннем мире, превосходила простой творческий застой или горечь обиды, терзавшей сердце. Этот экзистенциальный катаклизм расколол идентичность на бесчисленные, острые частицы. «Кто я, если кисть, некогда продолжение ее естества, ныне чужда и безмолвна? Кто я, если вера в незыблемость добра и торжество истины рассыпалась прахом под натиском предательства? Кто я без будущего, которое она сама выстраивала на холсте мечты, ныне обратившегося в пепел?» Кризис веры – в бытие, в любовь, в саму основу ее сущности.

Ее естество, опустошенный сосуд, выпотрошенный от всех смыслов, теперь, сквозь пустоту, ощущало просачивание едва уловимого, мерцающего света – искорки, обещающей не угаснуть, как первая звезда в ночном небе. Она не могла более ждать исправления Андрея, заблудшего странника, или того, как он найдет путь в лабиринте собственной тьмы, чтобы вновь обрести право на жизнь. Исцеление, древний ритуал возрождения Феникса из пепла, должно было стать ее личным, священным путем, вымощенным изнутри. Она не могла позволить приковывать существование к отблеску другого, даже отблеску любимого больше самой жизни, ибо зависимость обернулась бы новыми оковами.

С неимоверным усилием, поднимаясь из глубин забвения, Николь поднялась с ложа и, ведомая неясным порывом, подошла к окну, ставшему границей между внутренним и внешним миром. За стеклом, сквозь вуаль скорби, проглядывал бледный диск осеннего солнца, лишенный былой животворной силы, тщетно пытающийся пробиться сквозь свинцовые, плачущие небеса. Внизу, город, пульсирующий муравейник человеческих судеб, спешил по своим бесчисленным, предначертанным делам, не замечая ее внутренней бури. И тогда, глядя на мир, отстраненный и чужой, она вдруг постигла истину, холодную и пронзительную: ей предстояло сначала исцелить израненную сущность, ибо искусство – лишь зеркало ее внутренних глубин, и только тогда, возможно, она вновь овладеет кистью. Ей предстояло найти себя заново, собрать расколотую личность, как драгоценную мозаику, залечить незаживающие раны, оставленные предательством и потерей. Возвратится ли дар искусства, этот божественный огонь, подобно блудному сыну, ищущему дорогу домой, – было неясно. Но главное – вернуть себе способность чувствовать, дышать полной грудью, жить, а не существовать в мраке собственного прошлого.

Не решение, выкованное из стали разума, не четкий план, прочерченный на карте судьбы, а слабое, едва мерцающее осознание, подобное первому, хрупкому ростку, пробивающемуся сквозь толщу мерзлой земли. Путь, лежащий перед ней, обещал быть долгим, извилистым лабиринтом и невыносимо болезненным, устланным шипами воспоминаний. Но впервые за многие месяцы, в ее опустошенном, выжженном внутреннем мире появился крошечный, невидимый, но все же неугасимый проблеск чаяния – маяк в бескрайнем океане отчаяния. Это было чаяние об избавлении для Николь, той, что когда-то пылала неукротимым огнем страсти и таланта. Однако это избавление должно было прийти не от Андрея, чей мрак усугублял ее заточение, ведь помощь извне – лишь кратковременное забвение. Только ей самой, сквозь

боль и забвение, через горнило очищения, предстояло обрести его. Ей необходимо было уйти – разорвать последние ржавые нити, связывающие с прошлым, обретая свободу в одиночестве и вновь находя себя в безграничном мире.

Андрей, одержимый немой летописец, наблюдал за медленным, мучительным угасанием света в ее глазах. Зеркала души, некогда плававшие живым огнем, улавливавшие мимолетный танец солнечного луча на пылинке или глубокий оттенок сумерек, теперь превратились в мрачные глубины. Взгляд ее скользил сквозь них, не задерживаясь ни на Андрее, ни на плотном полотне яви; все сущее обратилось в призрачную дымку. Мелодия ее смеха, прежде хрустальным звоном рассыпавшаяся в солнечном свете, ныне умолкла. Она растворилась в безмолвии, изредка прорываясь сквозь пелену отчуждения горькой, полынной усмешкой, кривившей уголки тонких губ.

Он цеплялся за ускользящую нить, простирая руки к безмолвной пропасти, пытаясь удержать уже обратившееся в прах. С наступлением сумерек, с удлиняющимися тенями, поглощающими остатки дневного света, он, призраком надежды, вопрошал, пытаясь пробить стену невидимого отчуждения:

– Как прошел твой день, дитя света?

В ответ ему доставались обрывки слов, лишенные плоти и души: «Как обычно», «Нормально», – или гнетущее, всеобъемлющее молчание, смолистое, тушившее последние искры общего мира. Эфемерные нити бытовых бесед, сплетенные из мельчайших частиц повседневности – о капризах погоды, о шепоте ветра за окном, о тщетных заботах мирских, – служили хрупким, изъеденным временем мостом, перекинутым над бездной разъединения. Каждая доска моста скрипела под тяжестью умолчаний, предвещая неминуемый обвал.

Андрей ощущал отмирание незримых корней ее доверия, некогда питавших его дух, в бесплодной почве разочарования. Вера в него – создателя, способного сотворить миры, и спутника, призванного разделить с ней путь, – рассыпалась в прах, оставляя после себя горечь пепла. Безмолвная катастрофа отражалась в ее отстраненности, в ускользящем взгляде, уклоняющемся, как испуганная лань, от встречи с его взором при касании темы священнодействия искусства или собственных, ныне увядших, творческих усилий. Для нее он, некогда сияющий маяк, указывавший путь к бескрайним просторам воображения, превратился в мрачный обелиск покорности, в живое воплощение предательства идеалов, скрепивших их души. Он, бывший для нее Прометеем, несущим огонь вдохновения, зажигавшим искры дерзких экспериментов, теперь представал перед ней заблудившимся путником с угасшей внутренней навигационной звездой, со стертыми ориентирами в тумане бесплодных поисков. Потеря, внутренняя пустота отзывались в ее душе нестерпимой болью, отталкивая ее от него силой, способной разорвать крепчайшие узы. В редкие, мучительные мгновения, при случайном пересечении их взглядов, подобных двум потерянными кораблям в тумане, в бездонной глубине ее глаз Андрей читал безмолвный, сокрушительный приговор: «Как же я могу верить в твое искусство, в твою душу, если твой собственный дух утратил веру в себя, если твой компас указывает лишь в бездну отчаяния?»

Мир, некогда созданный для Николь из трепетных нитей чародейства, из незримых, но осязаемых касаний чуда, ныне обернулся бледной, выцветшей панорамой, лишенной глубины и объема, ветхим гобеленом, утратившим все краски. Алтарные огни закатов, прежде возжигавшие в ее душе священный трепет, теперь гасли, не оставляя и искры. Игра света, мимолетно танцующая на извивах вековых кирпичных стен, или причудливые архитектурные изыски облаков, плывущих по небесной тверди, более не пленяла ее взора, став безразличными, плоскими тенями на холсте бесчувственного бытия. Всякий оттенок, некогда живой, обернулся пепельной вуалью, окутавшей ее существо плотной, безвоздушной пеленой бессмысленности, и она, погруженная в оцепенение, была древней, усталой душой, несущей на согнутых плечах незримое, нестерпимое бремя скорбей и обманутых надежд мира.

– Посмотри, какая радуга после дождя! – однажды, пытаясь пронзить завесу ее отчуждения, воскликнул Андрей, указывая на окно, за которым мост из семицветного сияния, перекинувшийся через влажный воздух, обещал примирение небес с землей. Она мельком скользнула по нему взглядом, не задерживаясь ни на одном оттенке, и, не поворачивая головы, произнесла, отрезая нить последней связи: – Преломление света. Банальная оптика. Ничего, что стоило бы созерцания. – В ее голосе, лишенном тени былой горечи или жгучей злости, звучала ледяная, пожирающая пустота, вонзившаяся в сердце Андрея острее любого клинка, рассекая незримые узы общего мира и оставляя после себя кровоточащую рану бессилия.

Андрей, сжимаемый тисками отчаяния, ощущал ее скрытое стремление вырваться из удушающей темницы духа, но ее попытки напоминали порхание мотылька, обреченного на гибель у стекла – слабые, хаотичные, лишенные подлинной силы. Иногда он заставлял ее сидящей часами у окна, ее взгляд, подобный потухшему маяку, устремленный в даль, был пуст, не отражавший ни проблеска мысли, ни живого образа. Порой она, охваченная внезапным порывом, начинала с методичной, отчаянной сосредоточенностью переставлять книги на полке или протирать пыль с давно забытых, потерявших историю сувениров, совершая рутинные действия с ритуальной тщательностью, надеясь, что восстановление порядка в осязаемом мире магическим образом исцелит хаос, бушующий в собственной душе. Но каждый раз случалось мимолетное отвлечение, тонкая, прозрачная вуаль, ненадолго скрывающая глубочайшую пустоту.

Ее кризис был не угасанием вдохновения, не творческим застоем; он был глубже, корневее – полное отсутствие смысла, эхом отдающееся в каждом уголке ее бытия. Смысла в жизни, теперь казавшейся чередой бессмысленных дней; в любви, обернувшейся призраком прошлого; в творчестве, некогда питавшем ее, а теперь иссохшем до костей. Она не могла творить, ибо не видела, зачем вновь прикасаться к кистям, зачем облекать хаос в форму. Чтобы вновь вдохнуть жизнь в творения, ей предстояло сначала найти утраченный смысл, собрать по крупичкам осколки души, острые, как грани разбитого зеркала, рассыпавшиеся в прах под тяжестью разочарований. Но пока она бродила по осколкам прежней жизни, не зная, с чего начать, и чувствовала, как с каждым днем пустота внутри нее растет, расширяется, безжалостно поглощая последние, хрупкие крохи надежды, подобно черной дыре, затягивающей в себя свет и время.

Их совместное бытие обратилось ныне в тщательно отточенный, оттого призрачный ритуал, каждодневную литургию опустошения, каждое движение – эхо давно угасшего смысла. Завтраки, некогда искрящиеся мгновениями обмена мыслями и чувствами, теперь тонули в бездонной тишине, нарушаемой хрустальным лязгом столовых приборов, отзывавшимся в пространстве колокольным звоном по ушедшей эпохе да шелестом газетных страниц. Андрей рассеянно листал их, не вникая в типографскую вязь; строки служили ему непроницаемой завесой, избегающей столкновения с бездной чужих глаз.

Его утреннее «Доброе утро», с фальшивой нотой в траурной мелодии, звучало неестественно бодро, как заклинание, изгоняющее призраков реальности, убеждая самого себя в неоспоримой нормальности погребального шествия их дней. В ответ Николь издавала приглушенный, неслышный звук, роняла вязкое «Угу». Ее взгляд, пригвожденный к чашке с остывшим, как чувства, кофе, поглощался бездной, отражавшейся в темной, застывшей глади напитка. Ее плечи, некогда горделиво расправленные в вихре творческого спора о Ван Гого или Пикассо, теперь хрупко ссутулились, движения тягучи и медленны, каждый жест требовал невероятных усилий, сизифова труда, преодолевающего невидимую тяжесть бытия. Она стала неуловимой тенью женщины, некогда сгоравшей от внутреннего пламени, искрившейся энергией, способной зажечь звезды.

Вскоре хрупкие осколки былой вежливости, последние, обветшалые бастионы приличия, рассыпались в прах, унося остатки человеческого тепла. Слова, некогда сплетавшие неви-

димые нити между их душами, исчезли из разговоров, растаяв в воздухе, сделав его тяжелым, насыщенным безмолвием, ощутимым. Дом, некогда наполненный живым эхом споров и звонкого смеха, обратился в святилище оглушительной тишины, храм, где вместо молитв звучало эхо пустоты. Андрей перестал произносить неестественно бодрое, фальшивое «Доброе утро», Николь уже не отзывалась приглушенным «Угу». Этот обреченный акт контакта канул в Лету; любые, минимальные попытки установить связь оборвались, словно натянутые до предела струны.

Пентхаус, приобретенный Андреем с наивной надеждой, задуманный как их личная цитадель, с одной комнатой, превращенной в роскошную, современную мастерскую для Николь, должен был стать оплотом творчества, нерушимой любви, колыбелью созидания и нежности. Он обернулся для них Стеклянным домом – прозрачным, абсолютно непроницаемым, кристальной тюрьмой. Каждый видел другого сквозь незримые грани, не достучавшись до души; отражения скользили по холодным поверхностям, не касаясь истинного существа. Кисти Николь, некогда танцевавшие по холсту, не написали там ни единой картины. Она выкатила огромный безмолвный мольберт с девственно чистым пустым полотном в центр гостиной – обелиск немоты, – ежедневно созерцая бесплодие и творческое угасание. Она демонстративно заперла дверь в мастерскую на тяжелый замок, превратив ее в мавзолей несбывшихся замыслов. Отказ от искусства стал вызовом, манифестом отчаяния, немым упреком, застывшим в пространстве, эпитафией на могиле общей мечты.

Вслед за словами, растворившимися в эфире отчуждения, ушли и взгляды. Глаза, некогда встречавшиеся с жадным любопытством или нежной привязанностью, теперь скользили мимо, словно тени, опасаясь случайного столкновения, способного обнажить кровоточащие раны былой близости. Они перестали замечать друг друга как собеседников и как физические сущности, растворившись в невесомости. Андрей мог пройти мимо Николь, стоящей у окна, силуэтом, обрамленным светом заката, частью пейзажа или безмолвным предметом мебели, не зафиксировав ее присутствия, не заметив ее боли. Николь, в свою очередь, слышала его шаги в коридоре, отзвуки чужой жизни, но мозг отказывался регистрировать их как перемещение мужа, отторгая саму идею связи. Они существовали в параллельных мирах, разделенных невидимой, непроницаемой стеной отстраненности, эфирной преградой, сквозь которую не пробивался ни луч тепла, ни шепот надежды.

Их судьбы, некогда сплетенные из нитей страсти и вдохновения, ныне превратились в призрачный, тщательно выстроенный ритуал, лишенный живого дыхания, подобный древней церемонии, утратившей сакральный смысл. Каждое утро, прежде озаренное предвкушением нового дня, теперь разворачивалось как молчаливый спектакль на обширной, холодной сцене кухни, где Андрей машинально наполнял чашу темным, горьким эликсиром, источающим иллюзорный аромат ушедшего тепла, а Николь, с неторопливой грацией, отламывала ломтик поджаренного хлеба, не поднимая глаз, боясь встретиться с его взглядом. Разрыв между ними, некогда наполненный незримыми мостами понимания, превратился в непроходимую глушь невыраженных мыслей, не рождавших ни вопросов, ни предложений, ни даже утешающего эха минувшего присутствия, лишь леденящий вакуум, поглощающий любые порывы.

Тонкий, хрустальный перезвон столовых приборов, отдающийся от глянцевых поверхностей, и приглушенный шелест газетных страниц, по которым Андрей скользил блуждающим взглядом, воспринимая форму, но игнорируя суть и избегая ее взгляда, нарушали тягостную тишину, становясь ее единственными, механическими аккомпанементами. Николь же, ссутулив плечи, неся на них скрытую ношу мира, продолжала вглядываться в темную, остывшую гладь кофе, где проступало ее измученное лицо. Любое ее неспешное движение преодолеvalo сопротивление тяжких оков, выкованных из отчаяния и усталости; гравитация печали сковывала ее члены, превращая простой жест в неимоверное усилие.

Сумерки, сгущающиеся над городом, приносили еще более густую пелену нереальности, окутывая их вечера эфирной, неуловимой тоской. Ужин, когда их траектории совпадали за обширным столом, становился обрядом разделения, где каждый на своем полюсе отчуждения вкушал пищу, утратившую вкус, в окружении звенящей пустоты, заполненной отзвуками одиноких мыслей. Нередко один, возвращаясь в опустевший пентхаус, обнаруживал холодный след чужого, недавнего присутствия – пустую тарелку, оставленную на массивном, лощеном столе, немой укор, свидетельствующий о том, что другой уже растворился в глубинах дома, унеся с собой последние крупницы тепла.

Даже ложе, когда-то священное пристанище объятий, сплетавших тела воедино и рождавших шепотом звезды, теперь являло собой два отдельных острова, неприступно возвышающихся над безбрежным, ледяным океаном невысказанных слов, нечувствительных касаний и замерших эмоций. Соленые воды забвения навсегда разделили их берега. И пентхаус, воздушная цитадель, некогда задуманная как оплот творчества и нерушимой любви, ныне обернулся ареной скрытых сражений, мрачным склепом несбывшихся надежд, хранившим в каждом уголке и на любой отполированной поверхности отпечаток затаенных обид, немые стоны, замурованные в его стеклянных стенах. Дни, серые, однообразные нити, нанизывались друг на друга, образуя бесконечную цепь бесплодных мгновений, четки забвения. Каждый новый рассвет, проливающий холодный, равнодушный свет сквозь панорамные окна, усиливал ощущение удушающего вакуума, сжимающего горло незримой петлей, углубляя разрыв между ними до невыносимой пропасти отчуждения. Они были чужими, утратившими связь, превратившись в призраков друг для друга, в эфирные тени, бесшумно скользящие по гладким поверхностям покинутой оболочки, некогда бывшей их домом, а теперь ставшей безмолвной, стеклянной темницей, возведенной для двух изолированных душ, обреченных на вечное скитание в пучинах отчаяния, где лишь эхо угасающей надежды служило единственным спутником.

Утро в Стеклянном Доме – холодном, прозрачном саркофаге, вознесшемся над городом и отражающем в бесчисленных гранях чужое, отстраненное солнце, – не растворилось, нет, оно никогда не имело той субстанции, чтобы растворяться, оно просто не было, не оставив после себя ни тепла, ни даже отголоска тепла, ни отголоска воспоминаний, ибо что есть воспоминание без тепла, без жизни, без боли? Лишь прохладный, ледяной воздух, густой, вязкий, осязаемый, наполненный отзвуками, осевшими пылью на невидимых полках души, – отзвуками нерожденных и давно умерших – висел в пространстве. Андрей, ощущавший себя не призраком, но чем-то еще более пустым, отделился от стола, оставив нетронутым бессмысленный завтрак, и двинулся к выходу. Каждый его шаг был беззвучен и безволен, словно у марионетки с оборванными нитями, движимой остаточной инерцией. За ним осталась Николь – не тень, требующая источника света, а зияющий провал, полнейшее отсутствие его. Она была погружена в собственный параллельный вакуум, воздух которого, если таковой и существовал, казался еще более разреженным и безмолвным, чем окружающий, а каждый вздох отзывался эхом ее небытия.

Шаг за шагом, неумолимо, с той же бесцельной настойчивостью, с какой вода точит камень, Андрей покидал стерильную чистоту пентхауса, чьи поверхности, отполированные до зеркального блеска, отражали его собственную безжизненную бледность, и спускался в утробу города, распластавшегося внизу, бесконечного, бездушного, спящего гиганта из бетона и стали, чье дыхание ощущалось в едва уловимой вибрации под ногами. Он не шел на работу – той работы, которая когда-то, в забытом прошлом, в той другой жизни, когда слова еще имели вес и смысл, определяла его, давала ему форму и имя, – больше не существовала, она растворилась, рассыпалась в прах, унесенная безликим потоком времени, как и многое другое, как и

его собственная воля, его собственное желание существовать. Он просто шел, позволяя ногам нести его по улицам, мимо холодных стеклянных фасадов, возвышавшихся над ним, слепых и равнодушных, подобно тысячам глаз умерших богов, чьи зрачки, отражая его собственное безразличие, множились в бесчисленных, мерцающих поверхностях, создавая бесконечный, повторяющийся кошмар его собственного опустошения. Город был лабиринтом из бетона и стали, огромным, безжалостным механизмом, бесконечным повторением одних и тех же форм, где каждый поворот, каждый изгиб улицы, глубже запутывал, затягивал в свою воронку, не предлагая ни выхода, ни даже намека на направление, лишь обещание вечного блуждания по его бездушным артериям.

Безвольные шаги привели его к кафе – к тому самому, где когда-то, в другой жизни, в том далеком, мифическом прошлом, когда воздух был пронизан обещаниями, а каждый вдох был наполнен предвкушением, слова рождались из него потоком, неиссякаемым, бурлящим, и идеи обретали форму на страницах его блокнотов, становясь осязаемыми, реальными, высеченными из камня, где каждая строчка – отголосок собственной еще не угасшей души. Запах кофе и свежей выпечки, некогда манящий, зовущий, обещающий утешение, казался фоновым шумом, неспособным пробиться сквозь толщу его отчуждения, сквозь ту плотную, непроницаемую мембрану, отделявшую его от мира, от любого, даже самого слабого, отголоска жизни. Он заказал черный кофе, смолянистый, густой, горечь которого была единственным ощутимым, единственным, способным пронзить толщу его онемения, и сел за привычный столик у окна, к которому приросла его собственная угасшая тень. Ноутбук открылся. Экран вспыхнул слепящей белизной: распахнувшаяся бездна, чья пустота была невыносима, но курсор, маленький, отчаянно мерцающий огонек в этой безжизненной пустоте, пульсирующий, как последний удар умирающего сердца, оставался единственным движением, единственным свидетельством жизни, которой не было. Слова не шли. Они покинули его, оставив пустыню в голове, выжженную солнцем отчаяния, где некогда бушевали идеи, а теперь лишь пески забвения, гонимые ветром небытия, шептали о былом и о том, чего больше никогда не будет.

Андрей, сам ставший бледной, безвольной оболочкой, пригвожденной к стулу, и его сознание, до сей поры погруженное в непроницаемую тьму – в тот склеп, где покоились обломки забытых надежд и обещаний, – медленно, с невыносимым, скрипучим усилием оторвал взгляд от невидимой точки на столешнице, от того безжизненного, зеркально-бездушного пространства, где он видел собственное отсутствие, и позволил ему скользнуть по мутным, холодно-блестящим поверхностям кафе, по тусклым отблескам хрома и стекла, по тому, что некогда, в иной канувшей в бездну памяти жизни, именовалось миром, а теперь было декорацией, фоном для его собственного распада.

Там, за завесой его пустоты, двигались фантомы и тени, еще более нереальные, чем он сам. Они еще верили в собственное существование, в ту иллюзию цели, гнавшую их вперед по безликим улицам, по лабиринтам личных надежд и погребенных мечтаний: студенты со склоненными над мерцающими экранами головами, прикованными к темным водам цифрового забвения; лица, еще не тронутые морщинами отчаяния, но уже отмеченные печатью той универсальной скуки, подобно ядовитому газу проникавшей в самые потаенные уголки души, выжигая там последние ростки живого. Деловые люди в безукоризненно скроенных костюмах, служивших еще одной маской, скрывающей под собой ту же пустоту, что и у него; их движения – резкие, отточенные, но лишённые смысла, словно у марионеток, нити которых дергает невидимая, безразличная рука судьбы, – спешили куда-то, но не зная куда, поскольку путь был бесконечным повторением одного и того же, без начала и конца, без цели и искупления. Или просто случайные прохожие, зашедшие за очередной дозой кофеина, этого горького нектара, на мгновение отгонявшего призраков бессмысленности, но не способного заполнить ту бездну, зевавшую в каждом из них, в каждом, кто дышал этим воздухом, кто ступал по этой земле, кто был приговорен к бесконечному существованию.

Он искал в их глазах, в тусклых колодцах, отражавших свинцовое небо над городом, а не свет внутренней жизни, хоть что-то – искру, нет, не искру, ведь искра предполагает возможность пламени, – а лишь слабый, едва уловимый отблеск прежней жизни, то пульсирующее, болезненное ощущение, придающее смысл каждому вздоху, каждой мысли, – тень страсти, той безумной силы, способной разорвать завесу безразличия, отблеск цели, того далекого, мерцающего маяка, указывавшего путь сквозь туман небытия, – нечто, способное разбудить его, Андрея, вырвать из его собственного оцепенения, из той непроницаемой, ледяной скорлупы, ставшей его тюрьмой и его последним прибежищем, но он видел лишь отражение своей усталости, той вселенской, невыразимой усталости, пронизывавшей каждую клеточку его существа, универсальную печать равнодушия, которая окутывала их всех, превратив толпу в единую, безликую массу, в безмолвное, медленно движущееся стадо, бредущее к неминуемой, безликой пустоте.

Сквозь туман собственного отчаяния, сквозь монотонный гул кафе, сквозь безликое, медленно движущееся море человеческих теней, взгляд Андрея, до сей поры бесцельно блуждавший, был притянут. С неумолимой, физической силой, сравнимой с той, с какой ржавый якорь, забытый на дне, вдруг подхватывает зов прилива и стремится к поверхности, взгляд Андрея зацепился за молодую девушку, сидевшую в дальнем углу, пристроившуюся за маленьким столиком, словно островок живого, еще не поглощенный этой серостью. Ее присутствие сотрясало сам воздух, наполняя его неведомой, забытой вибрацией. Растрепанные рыжие волосы – бунт красок, яростная вспышка охры и ржавчины – были вызовом серости дня, безумным пламенем, горящим, но не сгорающим на фоне безжизненного, отполированного до бесчувствия мира. Погруженная в свой блокнот, небольшой, истертый временем артефакт, она творила. Страницы, исчерченные знаками, свидетельствовали о ее неистовом, безудержном порыве. Пальцы, испачканные чернилами, помеченные, запятнанные священной грязью творчества, быстро, с лихорадочной, неутомимой энергией, скользили по бумаге, оставляя живой, пульсирующий след мыслей и чувств. Глаза – большие, выразительные, глубиной не отчаяния, а страсти – горели ярким, лихорадочным огнем. Это внутреннее, неукротимое пламя разжигало в ней жизнь, гнало ее вперед, к осязаемой цели, ей одной ведомой. Она писала, нет, создавала с первобытной, безжалостной силой, подобной извержению вулкана или прорыву реки, веками точившей камень, нового русла. Эта энергия, живая, бьющая ключом страсть, ощущалась осязаемо, вибрируя в воздухе, касаясь его, Андрея, сквозь толщу собственной, непроницаемой отчужденности, словно едва уловимый, но различимый пульс забытой мелодии.

И тут, словно из ниоткуда, над ее хрупкой фигурой нависла громоздкая тень. Андрей, замороженный ее сосредоточенностью, вздрогнул. К столику, нарушая незримую границу ее уединения, подошел плотный мужчина лет пятидесяти, в дорогом, но несколько помятом пиджаке, с лицом, выдающим привычку к неограниченному комфорту и отсутствию возражений. От него исходил резкий запах дорогого одеколона и легкий, но неприятный флер самодовольства.

Мужчина постучал массивным перстнем по столешнице, прямо рядом с ее блокнотом. Звук был слишком громким, слишком настойчивым для тихого гула кафе.

– Деточка, – произнес он, не дожидаясь, пока она поднимет взгляд. Его голос был низким, но с нотками раздражения, будто он уже устал ждать. – Ты тут долго еще свои каракули выводить собираешься? Мне этот столик приглянулся. У окна, свет хороший.

Девушка, не отрываясь от страницы, лишь чуть заметно повела плечом. Ее пальцы не дрогнули, чернила продолжали течь по бумаге. Это было не пренебрежение, а полная, абсолютная поглощенность процессом.

– Занято, – наконец, произнесла она, не поднимая головы. Голос ее был ровным, без тени страха или агрессии, но с отчетливым, едва уловимым металлическим оттенком, который, как Андрею показалось, мог принадлежать человеку, привыкшему стоять на своем.

Мужчина усмехнулся, явно не ожидая такого отпора. Он оперся рукой о спинку соседнего стула, наклоняясь ближе.

– Занято? – повторил он, его голос стал чуть громче. – Кафе, милочка, общественное место. И столик тут не твой личный кабинет. Я вот вижу, ты сидишь одна, чайник твой давно остыл, а столик пустует.

Андрей почувствовал, как в нем самом что-то напряглось. Он ожидал, что она сейчас смутится, начнет извиняться или поспешно собирать вещи. Но девушка сделала нечто иное. Она медленно, почти церемонно, закончила фразу, поставила точку, затем отложила ручку. Только после этого она подняла свои большие, огненные глаза. В них не было ни капли испуга, лишь спокойная, почти ледяная решимость, обрамленная буйством рыжих ресниц.

– Пустует, говорите? – ее взгляд скользнул по его дорожному пиджаку, задержался на перстне, затем вернулся к его глазам. – Что ж, для вас, возможно, он и пустует. Для меня же он заполнен. Моими мыслями. Моими словами. Целыми мирами, которые я сейчас создаю. И, поверьте, эти миры занимают куда больше места, чем вы можете себе представить.

Мужчина на мгновение запнулся. Его самодовольство дало трещину. Он не привык, чтобы ему отвечали столь... необычно.

– Да ладно тебе умничать, – проворчал он, пытаясь вернуть себе инициативу. – Неужели нельзя просто пересестись? Я готов, так и быть, оплатить твой кофе.

Девушка медленно покачала головой, и рыжие пряди разметались вокруг ее лица, словно живое пламя.

– Вы не можете оплатить то, что я делаю. И не можете оплатить мое время. Мое вдохновение, – она подняла блокнот, прижимая его к груди, словно щит. – Этот столик – моя крепость. А вы, сударь, незваный гость. И я не собираюсь сдавать свои позиции.

Последние слова прозвучали не как вызов, а как констатация факта. С такой незыблемой уверенностью, что даже шум кафе, казалось, притих, впитывая каждое слово.

Мужчина побагровел. Он открыл рот, чтобы что-то возразить, но слова, казалось, застряли у него в горле. В ее глазах не было злости, но была такая непоколебимая сила, что он, привыкший давить авторитетом, оказался бессилён. Он понял, что перед ним не просто хрупкая девушка, а стена. И эта стена не сдвинется.

С досадой фыркнув, он резко отвернулся и, не оглядываясь, поспешно зашагал к другому столику, подальше от ее «крепости».

Девушка, не проронив больше ни слова, вернулась к своему блокноту. Ее пальцы, испачканные чернилами, вновь заскользили по бумаге, с той же лихорадочной, неутомимой энергией. Ее глаза снова горели тем внутренним, неукротимым пламенем. Казалось, эта небольшая стычка подлила масла в огонь ее творчества, сделав ее еще более сосредоточенной, еще более неуязвимой.

Андрей, наблюдавший за всем этим, почувствовал, как что-то внутри него сдвинулось. Завеса отчуждения, окутывавшая его, на мгновение рассеялась. Он увидел не просто девушку, а силу. Не бунтующую, но непоколебимую. Не агрессивную, но абсолютно уверенную в своем праве на существование и творчество. Ее стойкий характер, проявившийся в этой обыденной ситуации, был подобен молнии, рассекающей мрак, обнажая истинную, пылающую сущность этого «островка живого». Она не просто писала; она защищала свой мир, свои идеи, свою страсть. И в этом была такая мощь, что Андрей впервые за долгое время почувствовал не отчаяние, а едва уловимый, но отчетливый толчок – возможно, это был пульс той самой забытой мелодии, которую он искал.

Глубоко, до самых основ своего онемевшего, безжизненного существа, Андрея пронзил легкий, но острый, болезненный укол зависти. Древняя, первобытная, она представляла собой желание обладать, мучительную тоску по утраченному, по некогда бывшему, ныне безвозвратному. Зависть к ее способности чувствовать, к умению воплощать мысли в слова – в живые,

дышащие сущности, которые когда-то, в другой жизни, стали его дыханием, его голосом, его правом на бытие. Возможно, было и нечто еще – едва уловимое, зыбкое ощущение: где-то там, за завесой его безразличия, за непроницаемой стеной, им самим возведенной вокруг себя, еще теплится крошечная, упрямая искра. Не пламя, нет, а слабый, мерцающий уголек, быть может, способный откликнуться на этот чужой, но до боли знакомый огонь, на призыв к жизни, доносившийся из угла, из точки, не погасившей свет, не знавшей ночи.

Пока Андрей, подобный древнему, истертому камню, медленно, незаметно растворяясь в безразличных потоках города, брел по улицам, его шаги, глухие, неразличимые в общем рокоте мегаполиса, были эхом угасшего импульса. Николь, облаченная в безупречный, но безликий костюм, ставший для нее жестким панцирем, выкованным из чужих ожиданий и ее тщательно оберегаемого безразличия, двигалась с той же механической, сомнамбулической точностью к галерее – зданию с каменными стенами, впитавшими в себя не только пыль веков, но и отголоски бесчисленных, забытых шепотов и молений. Это место, некогда, в той другой жизни, было ее убежищем, ее святилищем, ее последним, незбылемым оплотом против наступающей тьмы, где каждый мазок кисти, каждая линия, высеченная на холсте чужой рукой, становились для нее источником вдохновения, болезненным, животворным уколом, пробуждавшим в ней самую суть ее творческого бытия, где она находила отклик в чужих творениях, тех исповедях, пробиваясь сквозь слои краски и лака, достигавших самых потаенных уголков ее души, заставляя сердце биться в унисон с ушедшими, но все еще пульсирующими ритмами чужих страстей. Теперь же она шла туда не творить: источник ее вдохновения иссяк, оставив после себя выжженную, безжизненную пустыню, не искать – что можно найти там, где все уже потеряно, где сама идея поиска стала бессмысленной, – а раствориться среди чужого искусства, среди громогласного хора чужих голосов, чужих судеб, которые, как она знала с полной, невыносимой ясностью, больше не отзывались в ее душе ни единой нотой, ни единым, едва уловимым эхом, оставив ее наедине с холодной пустотой, зияющей внутри.

Залы галереи, высокие, устремленные ввысь, были наполнены светом, проникающим сквозь высокие окна – не ярким, жизнеутверждающим сиянием, а бледным, бесплотным, льющимся потоком, просеиваясь сквозь толщу вековой пыли и безмолвия, касавшимся полированных поверхностей и матовых полотен, освещая внешнюю, безучастную красоту мира, не проникая в его глубинную, живую суть.

Воздух здесь, густой и осязаемый, был пропитан запахом старой древесины, едва уловимым ароматом застарелой краски и неизбытым присутствием бесчисленных, отзвучавших шагов, а тихий гул голосов, приглушенный акустикой, всепроникающей завесой, был не более чем далеким, монотонным рокотом, шумом прибора, разбивающимся о берега ее непроницаемого безразличия, не способным нарушить царящую в ней пустоту.

Яркие, смелые полотна висели на стенах, их краски, некогда смешанные с яростью и нежностью, с отчаянием и триумфом, кричали беззвучно, их формы, вырванные из хаоса бытия, извивались в немом, но выразительном танце, их сюжеты, застывшие мгновения чужих жизней, рассказывали истории, полные человеческой боли и величия, любви и ненависти, тех перевозанных чувств, образующих основу самой жизни, но для Николь все это было набором цветов и линий, бесстрастным, отстраненным зрелищем.

Она скользила взглядом по ним, не задерживаясь, не впитывая, ее глаза, эти окна в опустевшую комнату, отказывались принимать, отказывались видеть что-либо, кроме внешнего облика, ибо внутренняя ее сущность, некогда жадно впитывавшая каждый оттенок, каждый нюанс, теперь была подобна высушенной губке, не способной впитать ни капли живительной влаги. Она видела красоту, мощь, необузданную силу, с которой чужой дух прорывался сквозь материю, чувствовала собственную блеклость, свою отстраненность от этого мира, где страсть и боль, радость и отчаяние были выставлены напоказ, подобно диковинным зверям в клетках,

которые, несмотря на всю свою экзотичность, не вызывали в ней ничего, кроме холодного, аналитического любопытства.

Она была призраком среди красок, бледным, прозрачным фантомом, чье существование было легкой рябью на поверхности озера, тенью среди света, отбрасываемой несуществующим телом, чье место было не среди живых, пульсирующих творений, а в той бездне, где покоились обломки ее существования.

Ее взгляд скользил по безразличным, громогласным полотнам, мимо теней других посетителей, бредущих по своей собственной траектории, и не искал ничего, ибо в ней самой не осталось ничего, что могло бы быть найдено, ничего, что могло бы откликнуться на зов красоты или боли, когда вдруг, в том дальнем, невидимом конце зала, там, где пространство стучалось, сжимаясь под давлением смыслов, ее взор, некогда жадный, теперь же безжизненный инструмент, замер, пригвожденный к некоему центру, к точке, где хаос, исступленно вырвавшийся из глубин чужой души, был запечатлен на холсте – абстрактное полотно, чья энергия, дикая и необузданная, пульсировала, подобно незаживающей ране, зияющей в самой ткани бытия, и перед ним, перед этой кричащей исповедью, стоял мужчина.

Когда ее собственное сердце еще билось в ритме страсти, в том безумном, отчаянном танце, заставлявшем кровь петь в жилах, имя «Эрик» некогда отзывалось легким, незаметным эхом в закоулках памяти, ныне представляющей собой обветшалый, заброшенный склеп, хранящий тени былого, призраки, так и не обретшие плоти. Мужчина лет сорока двух-сорока пяти: коренастый, невысокий, с плотным телосложением и крепким торсом. Природа наделила его густой кудрявой шевелюрой, низким лбом, тяжелым подбородком и мелкими, близко посаженными глазами. Крупный нос и полные щеки довершали картину круглого лица – не самый выигрышный набор.

Но Эрик знал толк в компенсации и создании нужного образа. Он всегда был одет в безупречно сидящий, дорогой деловой костюм, подчеркивающий его статус, с накрахмаленной рубашкой и шелковым галстуком. На его запястье поблескивали дорогие часы, а туфли всегда были начищены до зеркального блеска.

Дорогие очки, которые не просто сидели на его крупном носу, а буквально нивелировали его размер, перетягивая все внимание на себя. Точно так же его круглое лицо приобрело желаемую вытянутость благодаря тщательно ухоженной, заостренной бородке, явно призванной придать ему солидности и профессорского шарма. Даже его губы, обычно плотно сжатые, казались частью этого продуманного фасада.

Он был известным куратором, человеком, живущим неотделимо от этого мира теней и света, мира, вмещающего чужие души, запечатленные на холсте и становящиеся предметом изучения, оценки, иногда даже обладания. Ибо что есть, в конце концов, кураторство, как не попытка систематизировать хаос, придать форму невыразимому, как не отчаянное усилие разума, укрощающего неуловимое? А иногда, в те редкие, случайные моменты, он становился и коллекционером, пытаясь удержать, подчинить, заключить в рамки нечто по своей сути неуловимое, эфемерное, вечно исчезающее, подобно дыму, растворяющемуся в синеве небес, подобно ускользающему, никогда не повторяющемуся мгновению.

Его фигура, хрупкая оболочка, вмещающая бездну мыслей и сожалений, была напряжена, плечи ссутулились под невидимым бременем, под весом собственного существования и сумрачной тяжестью всех историй, заключенных в стенах этой галереи, в каждом мазке, в каждом слое краски, в каждом незначительном отголоске чужой боли, просачивающейся сквозь поры холста.

Голова же, вместилище разума и боли, была глубоко опущена, в акте молитвенного поклонения, будто он совершал обряд перед всемогущей Болью, перед ее алтарем, принимающим в жертву обрывки душ.

Он смотрел на картину внимательно, не с той отстраненной, аналитической сосредоточенностью, присущей ему в эти дни, когда его сердце превратилось в камень, в холодный, безжизненный обломок, неспособный более ни чувствовать, ни отзываться. Напротив, он смотрел с глубокой, невыносимой, болезненной задумчивостью, с внутренней, истерзанной сосредоточенностью, выдававшей не осмысление, а некое мучительное сопричастие, некое болезненное отождествление, собственную его душу, хрупкую и обнаженную, вывернувшуюся наизнанку перед кричащим безмолвием, перед бездной, втягивающей его в себя, обнажая его раны.

И в его глазах, черных зеркалах, отражавших глубины его души, Николь увидела, или, быть может, ей показалось, отголосок присутствовавшего в ней самой – той необузданной страсти, подобно дикому, неукротимому зверю, когда-то заставлявшей ее собственную кисть двигаться, вырывая из хаоса небытия формы и цвета, или, по крайней мере, ее потери, той тоски по утраченному огню, по угасшему пламени, некогда согревавшему ее мир, а теперь оставившему после себя холодную, безжизненную золу, серую и безликую, с привкусом пепла, горьким и едким.

Он смотрел на картину, ведя с ней диалог, мучительный, интимный разговор. Но смысл, вес, отчаянная мольба или крик были понятны только им двоим, ибо в этот момент его душа, эта хрупкая, обнаженная сущность, представшая перед холстом, беззащитная, открытая всем ветрам бытия, всем его безжалостным бурям, всем тем невидимым, но осязаемым силам, рвавшим ее на части, не оставляя иного выбора, кроме как принять их.

В тот самый миг, едва уловимо, незаметно дрогнув, ее душа – тонкая струна, натянутая до предела, – завибрировала от дуновения ветра. Он почувствовал ее взгляд – не как осязаемое прикосновение, не как осязаемое давление, но как некий сдвиг в пространстве, изменение плотности воздуха, некое сознание, пронзившее предчувствие, подобное древнему, инстинктивному зову, идущему из глубин веков, из самого сердца первобытного, еще не названного страха, зову, возможно, являвшемуся эхом ее забытого одиночества, ее вечной, невыносимой ноши.

Медленно, с той неохотой, с которой старое, узловатое дерево, корнями глубоко вросшее в истлевшую землю, поворачивается под порывом ветра, Эрик повернул голову. Их глаза – эти окна в две параллельные, но в этот момент пересекшиеся вселенные – встретились, и в этом мгновенном, болезненном столкновении не нашлось ни улыбки, ибо как могла бы она проявиться в бездне общего молчания, ни слова – слова, оказавшиеся бы слишком грубыми, слишком недостаточными для пронесшегося между ними, – ни даже кивка, этого простого, общепринятого жеста: все эти внешние проявления, будучи жалкими попытками, не смогли бы выразить невыразимое, лежащее за пределами слов, за пределами жестов, за пределами всего, что можно назвать, за пределами самой возможности выражения, в области, где обитает необъятная суть.

Лишь мимолетная, едва уловимая искра понимания, электрический разряд, проскользнула между ними – болезненное признание общей пустоты, этой зияющей бездны, поглотившей их обоих, общей боли, этой ноющей, неисцелимой раны, кровоточащей в самых потаенных уголках их душ, общего поиска чего-то утраченного, чего-то, что было однажды, а теперь навсегда исчезло, оставив после себя фантомную боль воспоминаний, боль ампутированной конечности, продолжающей болеть, хотя ее уже нет и никогда не будет, лишь пустоту, где когда-то пульсировала жизнь.

Это было короткое замыкание двух сознаний, мгновенное, катастрофическое столкновение двух одиноких планет, вечно вращающихся по своим безразличным орбитам, пролетавших мимо друг друга в огромном, равнодушном космосе, и на мгновение, на краткий, невозможный миг, их атмосферы соприкоснулись, обменявшись невидимыми, но осязаемыми волнами забытых воспоминаний и неизбывной тоски, тоски, подобной вечному приливу, неумолимо

накатывающей на берега их отчаявшихся душ, оставляя после себя ил и соль, горечь и опустошение.

Затем он снова отвернулся к картине – к понимающему собеседнику, к крику, так точно отражавшему его собственную боль. А Николь, ощутив легкое, неуловимое дрожание внутри, словно тонкая струна, натянутая до предела, завибрировавшая от едва заметного прикосновения, продолжила свой путь по галерее, блуждая среди чужих творений, скользя взглядом по исповедям чужих душ. Она несла в себе едва заметный, неоспоримый след чужого, но до боли знакомого эха – эха, едва различимой мелодией начинавшего звучать в глубинах ее умолкшего существования, нарушая его безмолвие, но не принося ни утешения, ни забвения, лишь новую, непривычную тяжесть. Это было предвестие чего-то, еще не имевшего имени, но уже медленно, неумолимо разворачивавшегося в сумрачных закоулках ее измученной души, обещая новую боль или, быть может, новую форму существования.

Древний, ненасытный, вечно гудящий левиафан из стекла и стали, город продолжал жить своей бездушной жизнью. Его стальной пульс, отбивая вечный, незблемый ритм, заглушал тонкие, неразличимые биения миллионов человеческих сердец, таившихся в его каменном чреве. Огромный, безжалостный механизм, он вращал невидимые шестерни с неумолимой мощностью, перемалывая дни в пыль, надежды – в прах, а человеческие судьбы – в безликие тени, скользкие по его отполированным поверхностям, прежде чем навсегда исчезнуть в равнодушных глубинах. Воздух, пропитанный отголосками чужих жизней, запахом увядших надежд и едкой сажки, висел тяжелым, осязаемым покровом над его громогласными улицами. Здесь время текло не рекой, а вязкой, тягучей смолой, застревая в мгновениях, прежде чем быть поглощенным забвением.

Андрей и Николь, каждый в своем невидимом для мира, но таком осязаемом лабиринте из осколков воспоминаний и холодных стен безразличия, воздвигавшихся вокруг них из стекла и бетона, продолжали блуждать среди этой безликой, вечно движущейся толпы – реки человеческих теней, струящейся мимо, каждая – мимолетный, едва уловимый мираж, растворяющийся в тумане следующего мгновения. Они были одиноки в своем поиске, этом мучительном, бесконечном блуждании по коридорам собственной души, по запыленным анфиладам памяти, где каждый шаг отзывался глухим эхом чего-то утраченного, чего-то, возможно, и не существовавшего, но чье отсутствие оставляло после себя зияющую, ноющую пустоту. Их глаза, эти окна в опустошенные миры, скользили по лицам, по фигурам, по жестам, но ничто не задерживало их взгляд, ничто не проникало в ту толщу равнодушия, сковавшую их сердца подобно вековому льду. Они были подобны двум кораблям-теням, вечно плывущим по бескрайнему океану, несущим на своих палубах плесень забвения, а на парусах – лохмотья увядших снов.

Иногда, в редкие, случайные мгновения, их собственная, изможденная, выгоревшая душа незримо соприкасалась с иной, улавливая тонкий, болезненный отголосок боли, витающей в воздухе, или же страсти, подобно слабому, мерцающему огню, горящей где-то поблизости. Это было истинное соединение, мост, переброшенный через бездну одиночества; мгновенное, катастрофическое короткое замыкание между двумя обесточенными системами; вспышка, тут же гаснущая, оставляющая после себя привкус горечи, осознание собственной, невыносимой изолированности. Эти неуловимые касания представляли собой едва различимый трепет воздуха, едва слышный шепот, возможно, являющийся игрой света и тени, обманом измученного разума, пытающегося найти хоть какое-то подтверждение своего существования в этом безразличном хаосе.

И тогда они снова погружались в свои миры – эти внутренние, заброшенные мавзолеи, наполненные погребенными под слоями пыли и забвения звуками и отголосками жизни, с воздухом, тяжелеющим от исповедей. Единственное, что пробивалось сквозь толщу их собственного отрешения – этого вязкого небытия, возведенного ими самими вокруг себя, кирпичик за кирпичиком, страх за страхом, разочарование за разочарованием, – оставалось едва уловимое

эхо чужой боли, отзывающейся глухим, ноющим стоном где-то в глубинах их истерзанных душ, или же чужой страсти, подобно угасающей искре, на мгновение освещавшей внутреннюю тьму, прежде чем окончательно раствориться в ночи. И они продолжали брести, эти призраки среди призраков, по улицам города, самого являющегося огромным, живым, бездушным призраком, вечно ищущие, вечно теряющие, вечно забывающие, но никогда не находящие покоя в этом неумолимом танце существования и небытия.

Вечер, медленно, с неизбежной древней тяжестью, вползал в городские артерии, выдавливая последние, судорожные, непристойные всхлипы дневной суеты – той лихорадочной, неутомимой гонки за мнимыми целями, что теперь, замирающая, отступала в тень, оставляя после себя эхо отзвучавших голосов и тонкий, неслышимый вздох облегчения, распространяющийся по переулкам, как невидимая пыль, оседающая на фасадах, скрывая их истинное, истерченное временем лицо; нежно, но властно окрашивал бесчисленные окна домов – квадратные, слепые глаза, смотрящие в никуда, – в приглушенные, сумеречные тона, превращая их в мерцающие свидетельства тысяч нерассказанных историй, каждой из которых, возможно, суждено было остаться лишь беззвучным, застывшим криком, эхом, отражающимся в глубинах чужих квартир, невидимым и неслышимым для мира за их пределами.

Андрей и Николь возвращались домой. Их силуэты, выхваченные из сгущающейся мглы редкими уличными фонарями, двигались по асфальту. Каждый шаг был незримым, вибрирующим отпечатком дня. От этого дня, словно от невесомой, но всепроникающей пыли времени, оседающей на душах и пропитывающей каждое волокно существа, оставался свой горьковатый привкус – неосязаемый, но глубоко въевшийся, словно яд, медленно растворяющийся в крови. Движения Николь, быть может, были наполнены чуть большей беспокойной, неуловимой живостью, чем обычно. После встреч и разговоров – этих негласных, изнуряющих поединков воли и притворства – на ней оставался глубокий, осязаемый след внешнего мира. Это было нечто вроде слабого, чуждого аромата, пропитавшего ее саму, самую суть чужих касаний, чужих ожиданий. Вся эта хрупкая, преходящая паутина социальных связей, за день растянувшаяся, теперь медленно и неотвратимо стягивалась вокруг нее, как невидимые, липкие нити, грозящие задушить ее собственное, слабо мерцающее пламя – единственное, что отличало ее от безликой массы. Ее улыбка, если таковая и промелькнула на устах, была отблеском чужого света, отражением чужой радости, заимствованной, хрупкой маской, которую она носила, чтобы не раствориться в толпе, не стать еще одним окном в бескрайнем ряду.

Андрей, напротив, казался ушедшим куда-то еще дальше, в непроницаемые глубины собственного сознания, где воздух был плотным, а каждый вдох отдавался глухим эхом в пустых, расколотых сводах его души, где давно не звучал голос, кроме его собственного, да и тот был лишь шепотом. Его мысли, настоящие, древние валуны, вырванные из самого основания бытия, тянули его в темную пропасть внутренней тишины, где время потеряло свой смысл, а пространство сжималось до одной-единственной, пульсирующей точки собственного «я», которая, в свою очередь, грозила раствориться в ничто, в безвременье, в беспмятство. Эта метафизическая тяжесть придавала его походке тягучую размеренность, каждый шаг которой был отголоском бремена, древнего, как сама память, а взгляду – звенящую, пугающую пустоту, окно в безжизненный пейзаж, где не было ни света, ни тени, лишь бесконечное эхо собственного небытия, и изредка, когда случайный луч фонаря касался его лица, можно было заметить едва заметное подергивание уголка рта, как будто невидимая рука пыталась стереть с него последние остатки человеческого выражения, превращая его в чистый, безупречный холст для новой, еще более глубокой пустоты. Он был замкнут в себе, в своем нерушимом коконе, отгородившись от мира и от Николь, шедшей рядом, которая была так же далека от него, как самая далекая звезда, их разделяла целая вселенная непережитых эмоций, каждый из них, поглощенный своим собственным, уникальным бременем, двигался вперед, не замечая другого, два призрака, блуждающих в разрозненных снах, ведомые невидимыми течениями внутренней тьмы.

Дом, обширная, гулкая оболочка прошлого, встретил их привычным, утешающим шепотом вечера, тишиной – осязаемой, удушающей тяжестью, вытеснившей сам воздух, давя с высоких, незрячих потолков, просачиваясь из холодных, отполированных полов. Это была тишина настолько глубокая, настолько древняя, что редкий, церемониальный стук тарелки о темное дерево столешницы или глухой отголосок вилки, встречающей керамику, не столько нарушал ее, сколько рябил по поверхности, подобно камню, брошенному в маслянисто-гладкий, застоявшийся пруд, чтобы быть тотчас же поглощенным целиком, не оставив и следа, кроме расширяющегося, углубляющегося водоема безмолвия. Они двигались в этой неподвижности, две фигуры в угасающем свете, каждое движение – обдуманый, болезненный акт, зловещий обряд приготовления к трапезе, способной насытить тело, оставляя душу голодать в непреодолимой пропасти между ними.

Эта ежедневная традиция, когда-то, быть может, живое, общее полотно, сотканное из смеха и легкого трения присутствия, уже окаменела, превратившись в нечто более суровое, холодное – в череду движений, точных и неторопливых, исполняемых с отрешенной эффektivностью автомата. Это было причастие с отсутствием, отражение, идеальное и ужасающее, той жизни, которую они теперь населяли: жизни, лишенной диалога, спонтанного воспламенения общих мыслей, сведенной к голому, неприкрашенному факту со-существования, вечного бдения над могилой их повествования.

Они сидели друг напротив друга, через обширное, блестящее пространство стеклянного стола – поверхности, в какую-то забытую весну искрившейся зарождающимся обещанием общих завтрашних дней, кристального озера, отражающего расцветающий, полный надежд пейзаж будущего, возводимого ими совместно, кирпич за кропотливым кирпичом. Теперь же это был барьер, абсолютный и непроходимый, отвесная, непреклонная пропасть прозрачности, лишь увеличивающая пустоту между ними, преломляя тусклый свет в тысячу осколочных отражений, каждое представляя собой осколок их разбитого прошлого, обвиняющее зеркало опустошенного настоящего. Это была демаркационная линия, не физического пространства, но души, пропасть, ледниковая река, текущая между двумя изолированными островами, навеки разделенными той самой средой, предлагавшей иллюзию связи, свидетельство неумолимой эрозии близости.

Единственные звуки, осмеливавшиеся пунктировать эту удушающую тишину, были скелетный шепот столовых приборов о фарфор, тонкий, скорбный звон, говорящий о поглощении без радости, о пропитании без души, и едва слышный шорох ткани, мягкий, вздыхающий звук, исходящий от смещающихся тел, беспокойных и заключенных в своих собственных тюрьмах самости. Это были единственные, опустошенные акценты в неподвижном, вязком, тяжелом, осязаемом воздухе – удушающем саване, сотканном из бесчисленных нитей неразрешенных обид, желаний, увядших и обратившихся в прах. Он давил на них, этот миазм, гуще любого тумана, холоднее любого льда, свидетельство лет молчания, затвердевшего в непроницаемую стену, памятник словам, умершим, оставив после себя горький, металлический привкус сожаления и огромную, гулкую пустоту произнесенного, опустошение, простирающееся за пределы комнаты, в самую сердцевину их общего, но раздельного существования.

Когда беззвучная церемония, каждодневное причастие пустоте, достигала своего безрадостного апогея, последние, жалкие остатки пищи на тарелках, холодные и забытые, представляли собой нечто куда более зловещее – символы, остывшие свидетельства былого, теперь, подобно им самим, обреченные на одиночество, на медленное, неумолимое растворение в небытии. Андрей, подчиняясь древней, подспудной гравитации, притяжению, исходящему из самых глубин его отчаявшейся, измученной плоти, медленно, с нечеловеческой, застывшей в вечности замедленностью, потянулся. Его пальцы, некогда способные сплести обещания, теперь слепо нащупывали утешение в темноте, гладкую, но покрытую тончайшим, невидимым слоем времени, поверхность рамки, покоившейся на полке над буфетом, этом хранилище ста-

рых, забытых предметов, каждому из которых суждено было стать хранителем ушедших мгновений, надежд, пыльных реликвий жизни, уже обернувшейся в прах под их ногами.

Из этой гробницы прошлого, он извлек ее – старую фотографию, тонкую, прозрачную завесу, отделяющую их нынешнее, безжизненное существование от бывшего, ослепительным, невыносимым сиянием. Это была их свадьба, целая эпоха, запечатленная на выпцветшем, но все еще упорно цепляющемся за последние отблески былой яркости, снимке. На нем они были юны до боли, до той ослепительной, неприличной полноты жизни, казавшейся теперь чужой, невозможной, кощунственной. Их лица, обрамленные солнечным светом – золотым, благословенным потоком, лившимся с небес, освящая каждый изгиб их улыбок, каждую еще не возникшую, но уже предвкушаемую, счастливую морщинку у глаз, каждый лучик, искрящийся в их зрачках, – были открыты миру, полны смеха, того раскатистого, беззаботного смеха, теперь навеки погребенного под слоями тишины. Этот смех, живой и дышащий на снимке, был как эхо, доносящееся из иного измерения, болезненное напоминание о потерянном, разграбленном времени, этим безжалостным вором. Они были полны витальной, пульсирующей энергии, обещавшей бесконечность, и безграничной веры в завтрашний день – той наивной, непоколебимой убежденности в бессмертии их общего «мы», в нерушимости будущих лет, теперь, в свете их нынешнего, окаменевшего настоящего, казавшейся самым жестоким из всех обманов. Снимок, сам по себе, был надеждой, кристаллизованной, застывшей во времени, живым упреком, воздвигнутым против их нынешнего, опустошенного существования, памятником несбывшемуся, эпитафией на могиле их общей, невысказанной мечты.

Андрей смотрел на это, на этот безжалостный фантом прошлого, долго – часы, века, пока само время не перестало существовать, растворяясь в мутном, янтарном свете старой фотографии. Его взгляд, словно заблудившийся путник в бескрайней пустыне памяти, скользил по их юным лицам, по сцепленным рукам – этим символам неразрывной связи, ныне казавшейся жестокой шуткой судьбы, – по объятию, заключавшему в себе само счастье мира, его квинтэссенцию, его первозданную, нетронутую чистоту, обещание вечности, ныне обернувшееся в прах. Он искал в этих застывших образах нечто, способное объяснить, способное оправдать нынешнюю пустоту, но находил лишь обвиняющее отражение утраченного безвозвратно, навсегда.

Но фотография, извлеченная из пыльной рамки, не просто обвиняла. Она, словно древний артефакт, при соприкосновении с живой кожей Андрея, начала пульсировать, оживать и прорастать сквозь слои времени. И вот, уже не Андрей смотрел на снимок, а снимок смотрел на него, притягивая в свою золотистую, теплую глубину.

Он почувствовал, как холодная тяжесть тарелки с остатками пищи исчезает из его рук, растворяясь в воздухе. Горький привкус одиночества сменился внезапной, ослепительной сладостью, обволакивающей язык. Тьма вокруг отступила, и комната, та самая, что была свидетелем их безмолвных, пустых вечеров, вдруг преобразилась. Ее стены словно раздвинулись, исчезая, и Андрей оказался не в своей кухне, а под открытым небом, в самом сердце того дня, который теперь казался миражом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.